This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

891.78
Ш8650
М

А 871,835

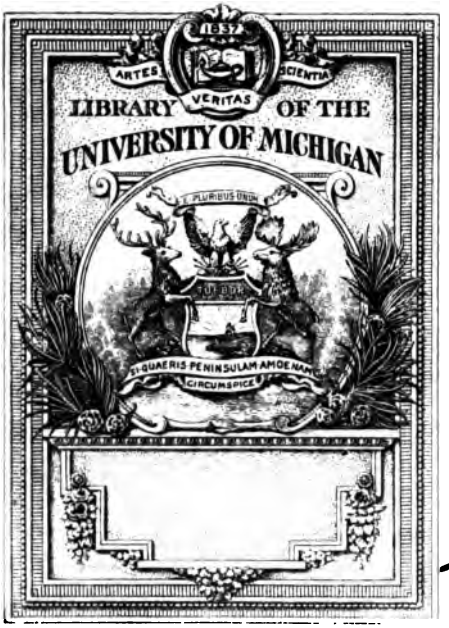
Г. И. УСПЕНСКІЙ.

ОПЫТЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАГО ИЗЛОЖЕНІЯ

ЕГО СОЧИНЕНІЙ.

ОРЕСТА МИЛЛЕРА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія В. П. Обоскова (Шпалерная 39).
1888.


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Г. И. УСПЕНСКІЙ.

Г. И. УСПЕНСКІЙ.

ОПЫТЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНАГО ИЗЛОЖЕНІЯ

ЕГО СОЧИНЕНІЙ.

ОРЕСТА МИЛЛЕРА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 39).
1889.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

От автора I
Вступленіе 1
I. Нравы Растеряевой улицы.—Растеряевскіе типы и сцены.—Столичная бѣднота 5
II. Разоренье 18
III. Новыя времена новыя заботы 34
IV. Очерки и разсказы.—Мелочи 63
V. Изъ деревенскаго дневника.—Непорванныя связи.—Овца безъ стада 78
VI. Малые ребята.—Очерки, разсказы, письма.—Богъ грѣхамъ терпитъ.—Волей-неволей 94
VII. Крестьянинъ и крестьянскій трудъ.—Власть земли и пр.—Пришло на память 123
VIII. Скучающая публика.—Черезъ пень колоду.—Очерки 150

Post scriptum.

I. Кой про-что́!—Изъ путевыхъ замѣтокъ 185
II. Письма съ дороги.—Живыя цыфры.—Мимоходомъ 206
III. Н. К. Михайловскій о Г. И. Успенскомъ 226

ОТЪ АВТОРА.

Первоначальною основою настоящаго труда послужили лекціи, прочитанныя нами весною прошлаго 1888 г. въ заключеніе того курса новѣйшей Русской литературы, которымъ обыкновенно заканчивалось чтеніе нашего предмета на высшихъ женскихъ курсахъ. Воспользовавшись за тѣмъ лѣтнимъ своимъ досугомъ среди деревенскаго затишья, мы внимательно перечли всѣ восемь томовъ прежняго собранія сочиненій Успенскаго и написали о нихъ восемь соотвѣтственныхъ главъ (лишь изрѣдка позволяя себѣ измѣнять тотъ порядокъ, въ какомъ размѣщены сочиненія Успенскаго въ упомянутомъ изданіи). Появленіе въ свѣтъ новаго дополненнаго собранія сочиненій нашего автора вызвало у насъ большой *postscriptum* изъ трехъ отдѣльныхъ главъ, являющійся дополненіемъ къ нашему труду. Внимательно занявшись Успенскимъ, который и намъ самимъ, какъ и многимъ, представлялся сперва не всегда послѣдовательнымъ, по крайней своей впечатлительности, и даже не чуждымъ внутреннихъ

противорѣчій,—мы рѣшительно убѣдились въ томъ, что это такъ только кажется, а на самомъ дѣлѣ онъ цѣленъ, постоянно стремясь къ одному и тому же. Мы бы желали, чтобы наше «объяснительное изложеніе его сочиненій» помогло и другимъ убѣдиться въ томъ, въ чемъ убѣдились мы сами.

Ор. Миллеръ.

13-го февраля
1889 г.

Г. И. УСПЕНСКІЙ.

Душа остановилась, не дѣйствуетъ, точно какъ часы остановились и стоятъ...

Вотъ та жалоба, которая постоянно раздается въ сочиненіяхъ Успенскаго, жалоба, которою вторитъ онъ голосу лучшихъ людей не только у насъ, но и за моремъ.

Въ этой жалобѣ—громкій запросъ на то, безъ чего, не смотря ни на какія новоизобрѣтенныя удобства жизни, всякая жизнь наконецъ остановится...

Сѣтованіе о душѣ, объ ея отсутствіи сказалось у насъ еще въ юмористическомъ замѣчаніи Гоголя про прокурора, похороны котораго повстрѣчались Чичикову,—что только въ это время и догадались, что у покойника была душа.

Но въ ту пору души въ прямомъ смыслѣ слова вѣдь и не полагалось. И на что, въ самомъ дѣлѣ, понадобилась бы душа въ тѣ годы, когда, какъ выражается нашъ авторъ, все «съ дѣтства переполнялось всѣми сортами трусости, пріучалось боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкало отъ аппетита какъ нибудь поступать, какъ нибудь дѣйствовать» *); когда, по его же

*) «Парамонъ юродивый».

словамъ, уже въ школѣ «не существовало человѣческихъ отношеній», а потому дѣти и выходили изъ нея «обездушенными»; когда сплошь и къ ряду попадались семьи, въ которыхъ не было ничего «настоящаго, подлиннаго»; когда и «религіозны были по формѣ, потому что принадлежали къ приходу; что̀ такое политика, не знали, что̀ такое общество, жизнь общественная—тоже» *).

Но настала другая пора. Все это стало выходить изъ-подъ запрета. Повѣяло духомъ жизни, сказался запросъ на движенье впередъ. Только ужь слишкомъ много надежды возложено было на силу паровъ и на всякаго рода усовершенствованные механизмы. Теперь уже во имя всего такого, но по-прежнему упразднялась душа. Все пріободрилось, подняло голову,—а она, эта старая опальная, «все-таки обрѣталась не въ авантажѣ».

Нашъ авторъ началъ свое поприще уже съ наступленіемъ новой поры, и съ самаго же начала понялъ, что главное для нея, для какихъ бы то ни было успѣховъ, — это пробужденье все той же души отъ ея вѣкового сна. Важность и глубина задачи заставляли его съ недовѣріемъ относиться къ собственнымъ силамъ. «Глубокое внутреннее сознаніе,—пишетъ онъ въ предисловіи къ собранію своихъ сочиненій, желая объяснить ихъ, такъ сказать, прирожденный характеръ,—сознаніе, что «теперь» обновляющаяся жизнь требуетъ большихъ дарованій и задаетъ имъ огромныя задачи,—дѣлало то, что незначительная способность написать «разсказецъ» или «очеркъ»

*) «Наблюденія одного лѣнтяя».

ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда, и вслѣдствіе этого матерьялъ обработывался плохо, «кой-какъ», появляясь въ видѣ «отрывковъ» безъ начала и конца». Постоянно думая, что это «не то», онъ продолжалъ однако же писать все тѣ же очерки, да разсказцы, да отрывки, не собравшись съ силами ни для одного большого и вполнѣ законченнаго сочиненія, какого, быть можетъ, мы и никогда отъ него не дождемся. Онъ продолжалъ писать такъ, потому что не могъ, не можетъ писать иначе, слишкомъ поддаваясь всякому свѣжему впечатлѣнію, овладѣвающему всею его душою, добивающеюся во всемъ и все немогущею добиться въ отвѣтъ— все той же души. И что же? прошла четверть вѣка, и авторъ очерковъ, разсказцевъ и отрывковъ «получилъ съ разныхъ концовъ Россіи много самыхъ сочувственныхъ ему писемъ и телеграммъ за подписью болѣе двухъ тысячъ лицъ разнаго званія и общественнаго положенія». Не многимъ достаются подобные «юбилеи». А авторъ остался при томъ же скромномъ взглядѣ на самого себя. Избранный почетнымъ членомъ Общества Любителей Россійской Словесности, онъ отвѣчалъ, какъ извѣстно, такими словами: «я очень хорошо знаю и вполнѣ умѣренно оцѣниваю какъ размѣры моихъ литературныхъ способностей, такъ и тотъ кругъ наблюденій, который доступенъ былъ мнѣ по моему развитію и общественному положенію. И то, и другое ни въ какомъ случаѣ не можетъ идти въ какое бы то ни было сравненіе съ размѣрами талантовъ, кругозора и задачъ тѣхъ свѣтилъ Русской литературы, имена и труды которыхъ

всегда по достоинству оцѣнивались Обществомъ Л. Р. С.» Чтобы объяснить себѣ и другимъ ту честь, какой онъ удостоился, авторъ привелъ въ своемъ отвѣтѣ выдающіеся отрывки изъ письма, полученнаго имъ отъ 15 человѣкъ рабочихъ. «На всѣхъ 16 страницахъ письма рабочихъ, предупреждаетъ онъ, только въ двухъ-трехъ мѣстахъ, и то только слегка, упоминается о невзгодахъ жизни въ матеріальномъ отношеніи, о нуждѣ и бѣдности. Самымъ же главнымъ несчастіемъ простого рабочаго человѣка оказывается невѣжество, темнота, отсутствіе нравственной поддержки, дающей возможность ощущать въ себѣ человѣческое достоинство. И вотъ эту-то нравственную поддержку, какъ оказывается, простой человѣкъ нашелъ, по словамъ адреса, въ «хорошей книгѣ». За тѣмъ слѣдуютъ и отрывки, изъ которыхъ мы позволимъ себѣ напомнить лишь слѣдующій: «мы, рабочіе, грамотные и неграмотные, читали и слушали ваши книги, въ которыхъ вы говорите о насъ, простомъ сѣромъ народѣ. Вы о немъ говорите *справедливо*, такъ что мы думаемъ, кто бы изъ образованныхъ людей ни прочиталъ ваши книги, всякій *подумаетъ* о насъ, о нашемъ темномъ и свѣтломъ житьѣ, если только у этого человѣка есть доброе сердце» *). А все дѣло въ томъ, что авторъ въ этихъ книгахъ бесѣдуетъ съ читателемъ *по душѣ*, что въ рабочемъ онъ чуетъ ту же *живую душу*, какой постоянно доискивается и на которую сводитъ онъ все въ человѣкѣ вообще.

---

*) См. Мартовскую книжку «Русской Мысли» 1888 г.

I.

Нравы Растеряевой улицы.—Растеряевскіе типы и сцены.—Столичная бѣднота.

Что̀ такое жизнь безъ души, — это видно уже изъ «*Нравовъ Растеряевой улицы*». Если главное тутъ дѣйствующее лицо, Прохоръ Порфирычъ, и можетъ, среди окружающей его бѣдноты-темноты говорить съ «совершенно покойною совѣстью: «чего жь мнѣ еще отъ Христа моего желать?» то собственно оттого, что въ немъ совѣсти уже не видать, что душа у него отсутствуетъ. Вся его власть надъ собою, вся его упорно выработанная въ себѣ выносливость и воздержность объясняются только желаніемъ сколотить деньгу, добыть на нее, съ помощью неправды, домишко, обзавестись наконецъ и женой—ради того капитальца, какой достается ему отъ бывшаго ея обожателя. «Ему и въ голову не могло придти, говоритъ авторъ, такъ же упорно, какъ упорно размышлялъ онъ о собственной участи, размышлять о томъ, что «перкабыльство» *) и «полоумство», которыя онъ усматриваетъ въ нравахъ своихъ собратій (питье водки *на споръ*, битье жены «безо время»), что все это порождено слишкомъ долгимъ горемъ, все покорившимъ косупкѣ, которая и царила надо всѣмъ, занявъ по крайней мѣрѣ три доли въ каждомъ дѣйствіи, поступкѣ и

*) Разговоръ, въ которомъ «кабы» упоминается часто: кабы то-то, да кабы другое... очевидно разговоръ не дѣльный.

Примѣч. автора.

безъ того отуманеннаго разсудка» *). Прохору Порфирычу некогда было разбирать этого; у него была своя забота, съ которою только бы справиться: «душа пить-ѣсть хочетъ, да штаны сшей», говорилъ онъ и резонно не хотѣлъ имѣть ничего общаго съ пропащимъ народомъ». Въ томъ-то и дѣло, что душа его только пить-ѣсть хотѣла, только одежды просила. Потому-то и вывелъ онъ изъ жизненнаго опыта такое рѣшенье: «ни друзьевъ, ни недруговъ промежду нашимъ мастеровымъ народомъ не заведу»; потому-то и проспалъ онъ дѣвушку, съ которою когда-то былъ близокъ, не желая марать рукъ изъ-за защиты ея отъ цырюльника, говоря: «кто ихъ разберетъ, а мнѣ по тюрьмамъ шататься некогда. Но все же я ее пожалѣлъ!» проговаривается онъ о томъ, какъ шевельнулась таки и въ немъ, въ послѣдній разъ шевельнулась, душа. Давъ ей совсѣмъ заснуть, онъ доходитъ наконецъ до того, что, оградившись отъ кабака, какъ личнаго соблазна, онъ думаетъ пристроиться къ тому же кабаку, какъ источнику личнаго дохода. «Въ качествѣ умнаго человѣка онъ устроитъ кабакъ около какой нибудь большой фабрики, бу-

*) Съ особою выразительностью соблазнъ косушки выставленъ у нашего автора въ той же «Растеряевой улицѣ» въ главѣ IV, (Суббота). «Медленность въ походкѣ, остановки и размышленія надъ трехрублевой бумажкой (только - что полученной мастеровыми) ... весьма ясно рисуютъ борьбу добра и зла, происходящую въ душѣ мастеровыхъ. При этомъ добро является въ фигурѣ разваленной избы, въ которой на трехрублевую бумажку почти невозможно получить ни единой крупицы радости, настоятельно необходимой въ настоящую минуту, а зло въ формѣ кабака, гдѣ означенная бумажка можетъ сдѣлать чудеса».

детъ давать рабочимъ въ долгъ, подъ условіемъ получать деньги изъ рукъ хозяина, который согласится на устройство кабака около фабрики, потому что Порфирычъ предложитъ ему профитъ... Въ воображеніи Прохора Порфирыча кабакъ этотъ рисовался какой-то разверзтою пастью, которая не переставая будетъ глотать черныя фигуры мастеровыхъ».

Ради все тѣхъ же житейскихъ успѣховъ (хотя и болѣе благовидныхъ, какъ и несравненно болѣе крупныхъ) усыпилъ въ себѣ душу и тотъ человѣкъ, совершенно уже иного покроя, который является въ «*Наблюденіяхъ одного лѣнтяя*» *) подъ именемъ Вани Купріянова. Онъ пробилъ себѣ дорогу къ высшему образованію, зная, что «на него въ будущемъ вся надежда», пробилъ, потому что «Богъ далъ ему простую любящую душу». Но такъ какъ при этомъ онъ думаетъ только о той надеждѣ, какую возлагала на него родная семья, такъ-какъ связей только съ родною семьею недостаточно для полной жизни души, то, выйдя въ люди сперва для семьи, онъ увлекся затѣмъ всѣми выгодами такого выхода въ люди уже собственно для себя, обратился въ служаку, «незнающаго ни сочувствія, ни несочувствія», сталъ худымъ, сухимъ и совершенно скучнымъ человѣкомъ, съ какимъ-то сухимъ, надорваннымъ голосомъ, ничему не удивляющимся, ничего неожидающимъ». Сдѣлавшись прокуроромъ, онъ пишетъ «легенькое» обвиненьице доброй старушкѣ, къ которой привязывается ради соблюденія формы; а затѣмъ, изъ прокуроровъ внезапно

*) Сочиненія Г. И. У., т. 2 (прежняго изданія).

переходя въ адвокаты, вдругъ выступаетъ защитникомъ той же старушки и вызываетъ у «наблюдателя-лѣнтяя» невольное замѣчаніе: «не знаю я, хороши ли такіе люди; не знаю я, нужны и важны ли такія дѣла?»

Возвращаясь въ «Растеряеву улицу» и доискиваясь въ ней живой души, отмѣтимъ присутствіе послѣдней въ жалобномъ голосѣ одного изъ безчисленнаго множества живущихъ въ ней запивающихъ людей, голосѣ, отвѣчающемъ на увѣщанья жены: «Анюта! ради царя небеснаго, не души ты меня этими разговорами... Я это все въ тыщу разъ складнѣй знаю... Только погоди ты хоть минуточку, дай мнѣ опомниться, всѣхъ васъ въ золотые наряды разукрашу... Ахъ, Боже мой!» Да, въ словахъ этихъ все-таки болѣе души, чѣмъ въ «правдѣ» Растеряевскаго «штатскаго генерала», котораго «всякое дѣйствительно благое намѣреніе, будучи приведено въ исполненіе, приносило существеннѣйшій вредъ». Авторъ объясняетъ это тѣмъ, что, зная «свою правду», онъ не зналъ «правды Растеряевской», а потому и не могъ жить въ мирѣ съ женой; что «слова его, всегда требовавшія смысла отъ Растеряевской безсмыслицы, еще болѣе безсмыслили ее». Авторъ заключаетъ даже, что «поставленная издали въ трудныя и горькія обстоятельства, Растеряева улица сама позабыла, что́ такое счастье. Честному, разумному счастью здѣсь мѣста не было». Имѣя въ виду основную точку зрѣнія самого же автора, мы полагаемъ, что онъ тутъ и переговорилъ, и не договорилъ. Все дѣло въ томъ, что «штатскій генералъ» не только не зналъ, но и не хотѣлъ знать «Растеряевской правды»; что онъ слишкомъ неснисходительно-черство

относится къ Растеряевщинѣ; что онъ могъ бы хоть что-нибудь вызвать и въ ней, если бы въ словахъ его было болѣе задушевности... Какъ ни тупа Растеряевщина, но не совсѣмъ же мимо ея должна проходить пословица: «сердце сердцу вѣсть подаетъ».

Полное отсутствіе души видимъ мы у того Растеряевца, который называется чиновникомъ Толоконниковымъ (онъ же и Богоборцевъ, любившій отъ нечего дѣлать смотрѣть, какъ прогоняютъ сквозь строй). Онъ бездушенъ и въ ту пору, когда является благодѣтелемъ Претерпѣевской семьи. Дѣло вѣдь въ томъ, что именно вслѣдствіе отсутствія души въ своей обстановкѣ и въ своемъ нутрѣ, онъ и старается чѣмъ-нибудь пополнить ощущаемую имъ пустоту. И вотъ онъ «начинаетъ съ какою-то болѣзненною жадностью требовать самаго безграничнаго уваженія», уваженія къ себѣ, уваженія, которымъ предполагается въ немъ совсѣмъ ужь не пустота, а что-то въ самомъ дѣлѣ достойное уваженія. Не добившись его отъ кухарки однимъ приказомъ себя уважать, онъ, повидимому, добивается уваженія отъ Претерпѣевыхъ—цѣною всего того, чѣмъ ихъ надѣляетъ. Только ненадолго. Зарвавшись въ своихъ требованіяхъ отъ нихъ до прямого самодурства, онъ доводитъ Претерпѣевыхъ до того, что они рады-радехоньки раздѣлаться съ благодѣтелемъ, и кончаетъ тѣмъ, что женится на какомъ-то чудищѣ, ради того, что оно въ самомъ дѣлѣ дрожитъ передъ нимъ, какъ осиновый листъ, и рабски старается угадать всякое его желаніе.

Въ такомъ же положеніи, какъ безгласная жена Толоконникова у своего супруга, находится у своей супруги

сожитель уважаемой всѣми Растеряевцами Балканихи. Достаточно было ей неожиданно появиться на порогѣ чулана, въ которомъ онъ, было, добрался уже до варенья, чтобы у него со страху и духъ вонъ. «Вотъ ежели бы ты, какъ слѣдуетъ, пришелъ бы да попросилъ у меня вареньица-то, а не воровски поступилъ, остался бы ты живъ-живехонекъ», резонируетъ она. Въ этомъ, быть можетъ, есть и преувеличеніе. Авторъ очевидно хотѣлъ налечь на всю силу бездушія Балканихи, этимъ-то въ извѣстномъ смыслѣ и озадачивавшей распустившихся Растеряевцевъ. Зато уже никакого преувеличенія не замѣтно въ той бездушной морали, при помощи которой Балканиха пытается поставить на истинный путь пропойцу Никиту, облагодѣтельствованнаго ею въ томъ смыслѣ, что она даетъ ему за рубль въ мѣсяцъ помѣщеніе въ своей банѣ, съ тѣмъ, чтобы онъ съ семьею выбирался изъ нея на чистый воздухъ во время топки (всего чаще происходящей въ банѣ зимою). Не совладавъ, конечно, съ Никитою и нимало не пожалѣвъ о томъ, Балканиха не можетъ переварить неудачу въ подчиненіи себѣ мѣщанина Дрыкина, разжившагося несмотря на то, что, не нуждаясь ни въ какихъ бухгалтерскихъ книгахъ, «изображалъ только углемъ и мѣломъ палки, подъ которыми подразумѣвались у него и люди, и овесъ, и пр.» Подчиненіе Дрыкина должно было состоять въ женитьбѣ его на Балканихѣ. Вѣрно понявъ, что коса бы нашла тутъ на камень, Дрыкинъ предпочелъ взять за себя безотвѣтную Ненилу, перестающую, однако же, быть безотвѣтной, послѣ того какъ Дрыкинъ ослѣпъ. Тутъ опять особеннымъ образомъ начи-

наетъ сказываться авторитетъ Балканихи: оба, и мужъ, и жена безъ оглядки слушаются тѣхъ наговоровъ, которыми разжигаетъ она ихъ другъ противъ друга, сама умѣя во-время выскользнуть и, сладострастно прислушиваясь къ дракѣ слѣпого съ женой, возводить очи горѣ и во всеуслышаніе говорить: Господи, помилуй, Господи, помилуй! «Счастливо живетъ наша Балканиха и до сей поры, замѣчаетъ авторъ, и по-прежнему пользуется общимъ почетомъ. Даетъ совѣты и принимаетъ за нихъ посильныя приношенія. Только порой еще и теперь досадуетъ она, что не удалось ей прибрать къ рукамъ стараго Дрыкина». Въ Балканихѣ и ея славѣ среди окружающихъ — уже верхъ Растеряевскаго бездушія.

Какъбы дополненіемъ къ нравамъ Растеряевой улицы служатъ у нашего автора «Растеряевскіе типы и сцены». Допотопною грубостью отзываются тутъ «бойцы», имѣющіе своего рода «мецената», командующаго цѣловальнику: «налей его». — «Не стану изображать, говоритъ нашъ авторъ, избравшій себѣ такіе реальные предметы при всемъ своемъ глубокомъ идеализмѣ, какимъ образомъ совершался процессъ наливанія Салищева. Больная грудь его, схваченная жгучей перцовкой, заколыхалась отъ удушья и кашля, которые впрочемъ скоро прошли. Нѣсколько стакановъ перцовки, выпитые одинъ за другимъ, не произвели еще необходимаго меценату ошалѣнія». Но онъ, наконецъ, достигаетъ своей цѣли. «Скоро изъ окна кабака видно было, какъ на лугу шла правильная потасовка. Отовсюду слышались крики, иногда стоны; жены старались оторвать мужей отъ этого зрѣ-

лица и причитали, какъ надъ усопшими; начали попадаться блѣдныя, окровавленныя лица, раздавались вопли...»

Душа нѣсколько отдыхаетъ на очеркѣ «Нужда пѣсенки поетъ». Чѣмъ-то теплымъ вѣетъ отъ той крѣпкой взаимной привязанности, которая услаждаетъ странствующему фокуснику съ женою подвернувшуюся имъ унизительную долю. Между тѣмъ братецъ-офицеръ (т. е. законный сынъ маменьки фокусника), заглянувъ къ нему какъ-то разъ, не захотѣлъ и видѣть его жены: «она погубила тебя, ты опустился, упалъ»,—да такъ болѣе и не показывалъ ему носа. А по мнѣнію самого фокусника Иванова именно жена-то его и спасла, подняла.

Зато подъ названіемъ «Идилліи» авторъ рисуетъ намъ столкновеніе во взяточничествѣ отца съ сыномъ, проученнымъ-было отцомъ, но пробивающимъ себѣ дорогу при помощи одной дамочки и, разумѣется, этимъ внушающимъ папенькѣ что-то въ родѣ невольнаго къ себѣ уваженія. Идилліею не въ ироническомъ, а въ прямомъ смыслѣ скорѣе бы можно назвать «Зимній вечеръ»—картину просыпанья чиновникомъ вечерняго чая, между тѣмъ, какъ семья его наслаждается, сидя за нимъ, путевыми ощущеніями странницы Ѳедосьи. Своего рода грустно-комическая идиллія оказывается, пожалуй, и въ очеркѣ «Задача», озаглавленномъ такъ потому, что выставленный тутъ чиновникъ Иванъ Абрамычъ, послѣ похоронъ своего двухнедѣльнаго ребенка, задался было съ женою мыслію о невозможности, впредь до прибавки жалованья, увеличивать собственное семейство, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ долженъ былъ думать о томъ, кого

бы пригласить въ кумовья, хотя никакой прибавки ему не послѣдовало. Разсказъ могъ бы показаться нѣсколько игривымъ, если бы не приданный ему грустный смыслъ...

«Растерявскіе типы» заключаются «Парамономъ юродивымъ»—этимъ перломъ первой поры литературной дѣятельности нашего автора. Очеркъ заимствованъ изъ «воспоминаній пропащаго», дѣтство коего прошло въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ, которые были, по его словамъ «для обыкновенной Русской толпы самымъ глухимъ, самымъ мертвымъ временемъ» (тогда-то люди и переполнялись уже съ дѣтства «всѣми сортами трусости», тогда-то и были всѣ «угнетены носившимся въ воздухѣ молотомъ: «еще наживешь хлопотъ»). И вдругъ, вспоминаетъ «пропащій», все-таки, впослѣдствіи, «нѣчто *совсѣмъ постороннее*, чуждое нашему несчастному, холодному, боязливому влаченію жизни пришло къ намъ, осчастливило насъ, оторвало наши мысли отъ земли, по которой мы ползали ползкомъ, подняло нашу уныло согнувшуюся голову къ небу и звѣздамъ, нежданно вошло въ сердце, заставило его сильнѣе биться, заставило грудь вбирать больше воздуха». И все это вошло къ нимъ въ видѣ юродиваго, у котораго въ сущности было «измышлено нѣсколько фразъ, двѣ, либо три и не больше, фразъ, которыя, по всей вѣроятности, должны бы были выражать какую-нибудь мысль, но, по безграмотству мужика-подвижника, не означали ничего, кромѣ чепухи». Угождая его вкусу, эта же самая, нежданно имъ посѣщенная семья, какъ грамотная, и познакомила его съ разными житіями, къ которымъ онъ сталъ по-своему относиться критически. «Нѣкоторыхъ святыхъ онъ

прямо не любилъ. И искушенія у него мало, и акафистъ малъ, и чудесъ не слыхать» По смутнымъ, но сильнымъ порываніямъ Парамона въ высь, тѣ, которые угождали его вкусу, сами впервые стали догадываться, что «есть что-то выше и лучше гимназіи, инспектора: что есть какая-то правда, которая выше всѣхъ пятерокъ и двоекъ; что есть какія-то наказанія и для инспекторовъ, наказанія почище сѣченія розгами, которыми несчастные эти инспектора обладаютъ въ совершенствѣ... Безъ всякой боязни этихъ людей, безъ малѣйшаго уваженія къ ихъ благополучію и счастію, Парамонъ вонъ идетъ прямо къ Богу въ «угодники»... Что̀ такое думаетъ о себѣ купецъ Маломальчиковъ, нашъ сосѣдъ? Что онъ богачъ-то? Что онъ съ полицмейстеромъ другъ и пріятель, и что послѣ него остался мильонъ? А что̀ онъ скажетъ, когда черти явятся тащить его душу? Ангелъ никогда не придетъ къ мильонщику». Такъ стали разсуждать эти дѣти и подростки, изукрасившіе отведенную Парамону бесѣдку въ саду изображеніемъ ангеловъ, святыхъ, а самый ея потолокъ— всевидящимъ окомъ. «Увѣряю васъ, вспоминаетъ одинъ изъ нихъ, этотъ глазъ былъ для насъ живымъ настоящимъ Божьимъ глазомъ, который рѣшительно все видитъ, все, до малѣйшихъ душевныхъ движеній. Подъ этимъ внимательнымъ и чистымъ взоромъ мы не смѣли сказать слово неправды, не смѣли допустить въ душу ни одного дурнаго побужденія. Всевидящее око глядѣло̀ на насъ, только глядѣло, а у насъ пробуждались понятія правды, искренности, простоты, доброты; пробуждалось все живое, все нужное человѣку, чего, увы! ни

единой капли не давали трудныя, безнадежныя условія дѣйствительной жизни». Словомъ, подъ вліяніемъ Парамона въ нихъ пробуждалась душа.

Разумѣется, и самъ Парамонъ въ своей жаждѣ душевной жизни сворачивалъ съ прямого пути. Для души, конечно, не представлялось надобности надѣть вериги, заковать ихъ на себѣ наглухо, давать желѣзу въѣдаться въ тѣло. Еще менѣе нужно было, конечно, оставить: домъ, жену и двухъ дѣтей и пойти спасаться — на томъ основаніи, что спастись будто бы можно только особнякомъ. Но Парамонъ несомнѣнно пренебрегалъ тѣмъ, чему поклонялся мильонщикъ-купецъ и ради чего онъ готовъ былъ на всякую мерзость. Пренебрегая всякимъ «земнымъ прахомъ», Парамонъ ничего не боялся, — тогда какъ внезапно увлекшаяся имъ семья такъ-же внезапно и перепугалась пришедшаго за Парамономъ квартальнаго. Стоило только раздаться зловѣщему стуку въ калитку сада—и всѣ они, какъ припоминаетъ «пропащій», почувствовали, что «не пройдетъ минуты, какъ они окажутся въ чемъ-нибудь необыкновенно подлы, словомъ, узнаютъ нѣчто такое, что̀ ихъ прямо бьетъ по лицу, тыкаетъ этимъ лицомъ, да и не лицомъ даже, а «рыломъ», рыломъ-то тыкаетъ въ землю, кому-то подъ ноги». Вмѣсто того, чтобы сунуть квартальному красненькую, глава семейства выдаетъ Парамона головой, выпросивъ только, чтобы ему позволили въ послѣдній разъ переночевать въ своей бесѣдкѣ-молельнѣ. Всѣ же они, даже дѣти, уже переходившіе вслѣдъ за Парамономъ на другую дорогу, сразу были охлаждены къ нему, «*именно его безбоязненною увѣренностью въ своей*

правотѣ» *). «Ну, не размазня ли, заговорили они. Ну, что̀ бы ему испугаться, заерзать «по земли», если нужно, на колѣнкахъ попросить прощенья, дать взятку (навѣрно припрятываетъ деньги-то! внезапно осѣнило ихъ), а онъ болтаетъ Богъ знаетъ что, да еще безъ паспорта. Да другихъ подводитъ! Богъ съ ними, съ этими святыми! *Только бѣды наживешь»* **). Послѣднія слова означали, конечно, рѣшительный поворотъ ихъ на прежнюю дорогу. Для усыпленія же продолжавшей еще шевелиться совѣсти, самъ глава семейства хватается за нелѣпую молву, разсказывая про Парамона, будто бы онъ бросилъ дѣтей ради какой-то богатой купчихи, у которой проживаетъ въ Кіевѣ. Мы знали, что все это неправда, замѣчаетъ «пропащій», но довольствовались представленіемъ, что и Парамонъ *также* виноватъ въ чемъ-то, не одни мы... *Сами врали себѣ, чтобы было легче жить,* чтобъ не сознавать своего ничтожества, нравственнаго безкрылія, чтобы не ощущать ежеминутно такъ прочно воздѣланной въ душѣ трусости, чтобы не терзаться сознаніемъ не менѣе прочно воздѣланнаго, увы! почитанія къ кулаку, къ тому, что̀ изуродовало насъ и заставило нутромъ чтить руку «бьющаго», паче ближняго и паче самого себя... Немудрено, что дѣти наши пришли въ ужасъ отъ нашего унизительнаго положенія, что они ушли отъ насъ, разорвали съ нами, отцами, всякую связь». Но вѣдь и дѣти, увы! не поняли, не разгадали самаго корня зла, и дѣти не отыскали того, безъ чего жить нельзя...

*) Курсивъ у автора.

**) Тоже, а равно и далѣе.

«Парамону юродивому» уступаютъ, конечно, тѣ четыре очерка, которые собраны подъ общимъ заглавіемъ «Столичная бѣднота». Но какъ ни печальна, какъ ни темна эта бѣднота, а душа такъ и слышится въ заботахъ мѣщанки Слезовой, чѣмъ-то накормитъ она—не себя, а своихъ, такихъ же убогихъ жильцовъ, заботахъ, которыя и заставляютъ ее видѣть своего рода воплощеніе небесной помощи въ плутоватой фигурѣ какого-нибудь «Старьевщика».—Твердою поступью выступала-было душа въ той бѣлошвейкѣ Татьянѣ, съ которою познакомился Московскій «пролетарій» на своей «первой квартирѣ». Въ воображеніи ея ярко стоялъ образъ матери, которая такъ горько болѣла о предстоящей жизни своей дочери въ Москвѣ и давала ей деревенскіе совѣты на счетъ того, какъ «остерегаться». Но не устояла и въ Татьянѣ душа передъ властнымъ бездушіемъ того Московскаго барина, съ которымъ *ничего нельзя было сдѣлать*, такъ какъ всякое дѣло онъ могъ «затушить» и давно уже привыкъ къ этому; который «былъ наглъ потому, что *все могъ*».

Въ своемъ родѣ богатая психологическая задача представлялась нашему автору въ «одной старухѣ», которая, благодаря крѣпостному праву, до конца своего вѣка «была несчастна незнаніемъ жизни». Оттого-то она и дѣвала куда-то прижитыхъ ею дѣтей, боясь «строгой барыни, когда Бога нужно было бояться больше ея». Оттого, приголубленная подъ старость чужими людьми, и дошла она, ради желанья повеселить ихъ, до ребяческаго увлеченія воровствомъ въ шутку и, прямо изъ бани попавъ въ холодную «часть», а потомъ въ больницу, лиши-

лась и своего послѣдняго друга—Дурдилки, оценившейся во время ея отсутствія и зарычавшей на нее при ея возвратѣ. Оттого, наконецъ, озлобившись на Дурдилку, она перебила ея щенятъ и кончила, говорятъ, помѣшательствомъ. Но все это въ разсказѣ только намѣчено. Для полноты впечатлѣнія недостаетъ того тонкаго психологическаго анализа, которымъ такъ великъ Достоевскій.

Какъ бы то ни было, впечатлѣніе отъ «одной старушки» остается сильное, и передъ нимъ, конечно, блѣднѣетъ то, какое получается отъ столичнаго приключенія съ «извощикомъ», отъ котораго разговорчивый баринъ юркнулъ въ проходной дворъ, да и былъ таковъ. Но и этотъ разсказъ, разумѣется, не изъ тѣхъ, которые бы не заставляли глубоко задуматься.

II.

Разоренье.

Подъ общимъ заглавіемъ «*Разоренье*» (очерки провинціальной жизни) собраны Г. И. Успенскимъ цѣлыя три серіи разсказовъ. Подъ «разореньемъ», какъ видно изъ примѣчанія къ третьей серіи, разумѣется тутъ «разореніе старыхъ порядковъ» (только издали чуемое когдѣ въ «Растеряевой улицѣ»). Намъ кажется, что начало третьей серіи: «*Наблюденія одного лѣнтяя*», могло бы быть органически связано съ первою, послуживъ къ ней приступомъ. Отецъ «лѣнтяя», съ котораго начинаетъ онъ свои воспоминанія, прямо годился бы въ отцы тому

Михаилу Ивановичу, изъ наблюденій котораго состоитъ первая серія разсказовъ. Михаилъ Ивановичъ могъ бы явиться прямымъ наслѣдникомъ его умѣнія *жаловаться* и его неумѣнія *дѣло дѣлать*, того, ради чего и говорила ему жена: «у тебя всѣ свиньи, а ты самъ-то только водку потягиваешь». Правда, собственно этого послѣдняго умѣнья Михаилъ Ивановичъ почти не наслѣдовалъ отъ предполагаемаго мною отца. Но онъ, подобно ему, въ сущности не идетъ дальше одного обличенья всего окружающаго (поѣздка его по первой чугункѣ въ Питеръ вѣдь ни къ чему не приводитъ). Зато все, разсказываемое про самого себя «лѣнтяемъ», дѣйствительнымъ сыномъ вѣчно бранившагося отца, представляетъ уже мало сходства съ похожденіями Михаила Ивановича и такимъ образомъ не могло бы быть слито съ ними въ одну повѣсть. Самое существенное различіе между Михаиломъ Ивановичемъ и «лѣнтяемъ» заключается въ томъ, что первый возлагаетъ большія надежды на новые порядки, тогда какъ второму уже съ самаго начала что-то плохо въ нихъ вѣрится. Начнемъ, однако-же, съ воспоминаній «лѣнтяя» про своего отца. Смѣемъ думать, что при этомъ окажется, до какой степени онъ бы годился въ отцы Михаилу Ивановичу.

Припоминая рѣчи своего родители, «лѣнтяй» замѣчаетъ, что въ нихъ постоянно слышалось слово «душа», постоянно тосковалось о «душѣ», о ея погибели, «о томъ, что ее забыли». «Купецъ Калашниковъ, вторя отцу, вспоминаетъ лѣнтяй, ужъ кажется богатъ, ужъ кажется почтенъ и награжденъ начальствомъ, а пьетъ не хуже мастерового и ходитъ къ слободской солдаткѣ Акулькѣ,—

тогда какъ у него есть красивая жена съ мильонами. А почему? Душа тоскуетъ». Такимъ образомъ на повѣрку выходитъ, что не отъ одной безъисходной нужды прибѣгаютъ къ косушкѣ (хотя косушка является тутъ уже въ видѣ цѣлыхъ бутылокъ шампанскаго). «Вѣдь снимешь же ты, мочалка глупая, мундиръ-то, говаривалъ ему прямо въ глаза отецъ «лѣнтяя»; и медали ты положишь вѣдь когда нибудь въ сундукъ; что̀ же для твоей дурацкой души останется?... Ежели богатствъ твоихъ послы Персидскіе не сожрутъ, если со страху ты ихъ начальству не разсуешь, да ежели дѣти твои, ослы лабазные, съ цыганками не пропьютъ, что̀ ты станешь съ ними дѣлать? Скажетъ ли тебѣ что̀ душа? Есть ли у тебя душа-то?». Оглядываясь за тѣмъ вокругъ, оглядываясь и на самого себя, онъ прибавляетъ: «не про тебя одного говорю;—всѣ мы, другъ ты мой, обездушѣли»! Но мысль его переносится затѣмъ къ своимъ предкамъ, и недумавшимъ принадлежать ни къ заправскому, ни къ лабазному барству. «Прадѣдушка мой, говоритъ онъ, царство ему небесное! Вотъ у него была душа, да и своя, не заказная! Да, не на заказъ сдѣлана, а своя!... Былъ онъ, видишь ты, раскольникъ, и свой скитъ имѣлъ за Волгой... Ему тысячный рысакъ былъ надобенъ, потому начальство за нимъ на тройкѣ погнало, а онъ попа разстригу везетъ, такъ ему надо угнать отъ начальства-то!...» Ясно, что тутъ то, что̀ называется денежными средствами, дѣйствительно служило только *средствомъ*, а не *цѣлью*. «Но порядокъ, гонявшійся за прадѣдомъ по лѣсамъ, поясняетъ «лѣнтяй», разорявшій его часовеньки и келью,.... уничтожилъ за-

родышъ самостоятельной мысли.» Наслѣдникъ его, дѣдъ, носилъ уже не мужичій кафтанъ, а длиннополый Нѣмецкій сюртукъ. Стоило взглянуть на его портретъ, «чтобы отыскать въ этихъ глазахъ, выглядывающихъ съ самаго верха узкаго лба, почти подъ проборомъ жирныхъ волосъ, какое нибудь подобіе самостоятельной мысли прадѣда;—ея нѣтъ и слѣда! Это—церковный староста, которому генералъ подалъ руку и осчастливилъ, или гражданинъ съ двумя головами сахару подъ мышкой, ожидающій начальника, чтобъ поздравить и попросить прощенія». Отецъ «лѣнтяя», по словамъ послѣдняго, вышелъ не въ своего отца, а въ прадѣда, только не имѣлъ уже его твердой, опредѣленной точки опоры. Отецъ не научилъ его «цѣнить денежный рай» и весь-то свой вѣкъ пришлось ему поэтому провести въ отыскиваніи настоящаго рая—потеряннаго. То принимался онъ стихи писать, то поступить въ монахи, то сдѣлаться актеромъ. Но, «едва столкнувшись съ какою нибудь заочно отысканною профессіею», онъ постоянно «чуялъ свое невѣжество и видѣлъ ограниченность дѣла». Куда ни оглянется онъ вокругъ, вездѣ только одинъ «порядокъ». «Не было людей, были «породы» чиновниковъ, купцовъ, господъ, мужиковъ, и «всякая порода имѣла свои зоологическіе признаки». Пустившись въ долголѣтнія скитанія по бѣлу свѣту и оставшись, по своей широкой натурѣ, безъ денегъ, потомъ усаженный какимъ-то «добрымъ бариномъ» въ подмосковную деревеньку въ качествѣ садовника, онъ, конечно, не успокоился: «спеціалисты» по своимъ частямъ «не могли ни слова понять въ его разсужденіяхъ и сразу стали смотрѣть на него,

какъ на шута, на сумасшедшаго»... «Выѣли, выѣли въ васъ душу, упорно твердилъ онъ свое брату своей жены—чиновнику; какъ искусно выхватили-то?.. Ему все одно—Богъ не Богъ, душа не душа, ему одно свято—канцелярія!»

Но не таковъ ли, скажите, оказывается на повѣрку и Михаилъ Ивановичъ—съ тою разницею, что онъ думаетъ найти себѣ твердую точку опоры въ «новыхъ порядкахъ», а потому и не пьетъ запоемъ? Точно также нападаетъ онъ на всѣхъ, кто ни попадется подъ руку,—все изъ-за той же, нечуемой въ нихъ, души; только къ этому постоянно примѣшивается у него радость отъ постигающаго ихъ «разоренія», утѣшеніе зрѣлищемъ сценъ, «гдѣ бы человѣкъ, имѣвшій въ рукахъ власть надъ простымъ человѣкомъ, самъ попалъ въ лапы къ прижимкѣ». Любо дорого ему, что послѣ той войны, которая предшествовала новымъ порядкамъ, «всѣхъ взяточниковъ повязали».. «Сталъ я у Птицыныхъ жить, у генераловъ, разсказываетъ онъ, и тамъ пошло все врозь. Всѣ сыновья ворами оказались. Плачъ оказался между грабителями». Старшіе въ этой семьѣ, съ горя отъ погрома и скуки отъ «нечего дѣлать»(кромѣ взиманія взятокъ они вѣдь ничего не умѣли), пять лѣтъ умирали и умереть не могли. Умеръ на самомъ дѣлѣ одинъ—младшій и ничѣмъ неповинный, натура художническая, непризнанная и забитая своею родственною ордой. Пристроился Михаилъ Ивановичъ къ племянницѣ этого бѣднаго Вани, Надѣ Черемухиной (за Черемухина—одного изъ остальныхъ той же славной стаи орловъ - взяточниковъ — вышла одна изъ Птицыныхъ, мать этой Нади). Вотъ и

сталъ постоянно ей бормотать нашъ Михаилъ Ивановичъ о грабежахъ и разбояхъ и сдѣлалъ то, что «въ головѣ Нади зашумѣлъ цѣлый рой совершенно новыхъ для нея размышленій» .. «Причина всѣхъ этихъ злодѣйствъ, пояснялъ онъ ей. чужія деньги. Надо имѣть свои. Своихъ нѣтъ. Свои у кухарокъ и кучеровъ. У нихъ нѣтъ скуки. Неужели надо идти въ кухарки?» И вотъ— пускается эта Надя въ поиски за иною жизнью. Отыскиваетъ она свою старую подругу Соню, заспавшуюся было въ счастливомъ замужествѣ за немолодымъ ужь чиновникомъ Печкинымъ. Разбудивъ эту Соню, пускается она вмѣстѣ съ ней и барчукомъ Уткинымъ, умѣвшимъ лишь галокъ стрѣлять (чтобъ потомъ ихъ бросать) и ошеломленнымъ рѣчами того же Михаила Ивановича. Пустились они втроемъ отыскивать «стирки бѣлья» и чуть не очутились подъ кулакомъ мужа Сони, котораго подуськалъ на нихъ лабазникъ Трифоновъ. Послала имъ, было, судьба и иную встрѣчу—съ другою товаркою Нади, вышедшею замужъ за человѣка уже «новыхъ порядковъ»,—но вскорѣ ихъ оттолкнуло бездушно-формальное отношеніе къ новому суду просвѣщеннаго супруга этой товарки. Оттолкнуло оно и Михаила Ивановича, нимало однако-же непоколебленнаго тѣмъ въ своей вѣрѣ въ «новые порядки», вовсе не надоумленнаго тѣмъ, что въ новые мѣха вливалось порой то же старое наслѣдственное вино, лишенное той крѣпости и того «букета», который дается только живою душою.

По прежнему зорко наблюдаетъ Михаилъ Ивановичъ за сооруженіемъ чугунки, взирая на нее съ твердой вѣрой, напоминающей ту, съ какою ходилъ подъ конецъ

жизни Бѣлинскій любоваться на строившуюся тогда Николаевскую желѣзную дорогу (какъ это видно изъ дневника Достоевскаго). Ждетъ не дождется Михаилъ Ивановичъ, когда-то наконецъ пойдетъ эта чугунка и покатитъ его въ Питеръ, вмѣстѣ же съ нимъ покатятъ и тѣ жалобы, которыя накопились у него на душѣ. Безъ оглядки хватается онъ за деньжонки, какими его снабжаютъ какіе-то купцы — въ разсчетѣ на то, что онъ распуститъ тамъ въ Питерѣ всякіе дурные слухи про Нѣмца-арендателя, прижимающаго народъ на казенномъ заводѣ. Отправляется Михаилъ Ивановичъ въ новозданную путь-дорогу въ качествѣ «волчка», пускаемаго этими купцами, и не думая о томъ, что купцы добиваются только передачи завода въ ихъ лапы, не менѣе прижимистыя для родного народа, чѣмъ тѣ, Нѣмецкія.

И вотъ—Михаилъ Ивановичъ въ Питерѣ, гдѣ ожидало его разочарованіе, зависѣвшее отъ «весьма неосновательнаго убѣжденія, что, отдѣлавшись отъ разоренныхъ и умирающихъ стариковъ, онъ уже не встрѣтитъ «разоренья» въ ихъ дѣтяхъ». Увы, «неосновательность этой увѣренности обнаружилась тотчасъ же, какъ только Михаилъ Ивановичъ разыскалъ брата Нади—Василья Андреевича», того самаго, который когда-то бѣгалъ къ нему на кухню, чтобы послушать его мужицкихъ сказокъ и ими оживить свою дѣтскую душу, задыхавшуюся въ той средѣ, гдѣ, по его же словамъ, жили, что̀ называется, «припѣваючи». Оказывается, что Михаилъ Ивановичъ отыскалъ Васю только для того, чтобы наслушаться отъ него тѣхъ же, ему хорошо знакомыхъ жалобъ на эту жизнь «припѣваючи». — «Твой отецъ, прямо

съ завистью говоритъ ему Вася, общипанный купцомъ, ограбленный кабачникомъ, возвратясь домой, чтобы вмѣстѣ съ тобой глодать, какъ ты говоришь, собачью кость, ростилъ въ тебѣ эти добрыя сѣмена своимъ разсказомъ. Ты учился уважать трудъ, учился любить ограбленнаго отца, и—посмотри сколько ты накопилъ въ своемъ сердцѣ и любви и справедливой ненависти, и прочнаго убѣжденія!» Тутъ конечно уже прямо оказывается, что Михаилъ Ивановичъ сынъ не того лица, которое выставлено у нашего автора отцомъ «лѣнтяя» и которое, тѣмъ не менѣе, прямо годилось бы быть отцомъ Михаила Ивановича, такъ-какъ этимъ скорѣе бы объяснялись безплодныя въ сущности жалобы Михаила Ивановича, котораго, по исходу его похожденій, едва ли и можно признать заслуживающимъ той идеальной характеристики, какой его удостоиваетъ Вася, судя о немъ по сравненію съ собою. Вася, обездушенный еще дома, мало набравшійся души и отъ сказокъ Михаила Ивановича, и отъ мимолетнаго состраданія къ солдату сапожнику Абраму, и отъ такого же состраданія къ кормилицѣ Аленѣ, отъ дальнѣйшаго соприкосновенья съ которыми тщательно устраняли его родители,—Вася хотя и пробрался въ университетъ, но тамъ, по его же словамъ, только «продолжалось опустошеніе его души»... Правда, тутъ, говоритъ онъ, «быстро пронеслось другое время, заговорили другіе люди... Тутъ-то и пришлось ему «вспомнить про заржавленный грошъ», брошенный всѣми тѣми хорошими встрѣчами на его «тарелку», но «гроша этого оказалось слишкомъ мало для того нравственнаго обихода, который потребовали новые дни».

А тутъ, продолжаетъ онъ, характеризуя умственную путаницу этого новаго времени, неизбѣжно слѣдовавшую за прежнею умственною спячкою,—«вся эта нравственная арлекинада, всѣ сотни направленій»,—и «въ результатѣ нуль, вредъ дѣлу».

Тотъ же нуль, т. е. вредъ дѣлу, оказывается и въ результатѣ Питерскихъ похожденій Михаила Ивановича, котораго деньги (т. е. полученныя имъ отъ купцовъ) почти всѣ уходятъ на то, чтобы какъ-нибудь поддержать опустившагося Васю. Длинный разсказъ послѣдняго о своихъ бѣдахъ заживо задѣваетъ не одного Михаила Ивановича, но и ту бабу, которая пришла было къ Васѣ за должкомъ, а кончаетъ тѣмъ, что беретъ у него, для даровой стирки, его грязное бѣлье и еще даетъ ему три рубля своихъ денегъ. «Она почти не понимала, что̀ такое онъ разсказываетъ; но если бы даже Василій Андреичъ говорилъ по-Нѣмецки, то и тогда баба сумѣла бы почуять, что это говоритъ человѣкъ несчастный». Эта баба, такимъ образомъ, самое свѣтлое тутъ лицо—потому, что она съ живою душою. Она знаетъ что̀ дѣлаетъ, она предлагаетъ «пропащему» человѣку свой даровой трудъ и свои трудовыя деньги, между тѣмъ какъ Михаилъ Ивановичъ тратитъ на барчука чужое—не только купеческое, но и то *крестьянское*, на пользу чему, какъ самъ онъ думалъ, должны бы ему послужить купеческія деньги. Чѣмъ окончились похожденія Михаила Ивановича, мы такъ и не знаемъ; должно быть, ничѣмъ не окончились.

Не кто иной, какъ тотъ же Вася Черемухинъ, является авторомъ дневника, составляющаго вторую часть «Ра-

зоренья» и озаглавленнаго «Тише воды ниже травы». Этимъ, повидимому, указывается на ту скромную, но уже трудовую жизнь, какую тутъ ведутъ сестра и мать Нади, въ качествѣ учительницы народнаго училища и ея помощницы. Раздѣлить ихъ трудовую долю отправляется наконецъ и Вася, послѣ цѣлыхъ десяти лѣтъ, проведенныхъ безъ малѣйшаго отклика на нужды матери. «Денегъ у меня было мало, вспоминаетъ онъ про эту пору, а когда и случались, то большею частью уходили на какое-нибудь такое дѣло (множество было ихъ тогда *), которое казалось мнѣ и выше, и нужнѣе потребностей матушки». Дѣло, конечно, было связано съ тѣмъ или другимъ изъ «сорока семи разнородныхъ взглядовъ», между которыми колебался Вася (какъ говорится въ «Наблюденіяхъ Михаила Ивановича»). Наконецъ-то подъ вліяніемъ, что ли, Михаила Ивановича (этого не указано) отправляется онъ къ своимъ, чтобы вскорѣ убѣдиться въ томъ, будто бы и ихъ дѣятельность «тише воды, ниже травы» оказывается невозможною. Говоримъ—будто бы, полагая, что столкновеніе съ уѣзднымъ учителемъ Семеномъ Андреевичемъ все-таки не изъ особенно важныхъ, что оно даже дѣйствительно могло бы быть устранено при помощи званаго пирога или, ужь навѣрное, отдаленія отъ Нади не особенно и интереснаго Ермакова, затрогивающаго самолюбіе, а, пожалуй, и ревность Семена Андреевича. Какъ бы то ни было, даже въ томъ случаѣ, если бы это была въ самомъ дѣлѣ

*) Т. е. въ шестидесятыхъ годахъ. Во главѣ дневника помѣчено: «Августъ, городъ *** 186* г.».

ревность, способная довести до серьезныхъ послѣдствій, такъ, что Надя не только отъ мнительности, повидимому въ ней возбужденной братомъ, но и на самомъ дѣлѣ имѣла основаніе написать брату: «не могу, не могу больше—возьми меня», — Васѣ не приходилось бы, скажись только въ немъ въ самомъ дѣлѣ живая душа, заключить свой дневникъ малодушнымъ; «что̀ мнѣ дѣлать»? Впрочемъ, авторъ напрасно думаетъ, будто «многимъ можетъ показаться, что въ безсильномъ и слабомъ авторѣ дневника онъ желалъ видѣть героя». Полагаемъ, что это никому не можетъ показаться. Авторъ утверждаетъ при этомъ, что «типъ автора дневника, какъ и почти все, что̀ вошло въ первыя двѣ части «Разоренья», отживаетъ свой вѣкъ». Отживаетъ ли? А пора бы!

Главный интересъ дневнику придаютъ нѣкоторыя эпизодическія личности: не столько, конечно, благодѣтельная и просвѣщенная помѣщица, распространяющая въ народѣ переводныя книжки, въ которыхъ разсказывается о томъ, какъ «пьяница мужикъ, послушавъ одинъ разъ хорошую пасторскую проповѣдь, пересталъ пить и достигъ до такого благополучія, что при концѣ жизни былъ сдѣланъ старшимъ лакеемъ у графа N»; не столько содержатель мельницы Иванъ Николаевичъ, со своимъ пониманіемъ Русской исторіи не по доходящимъ до народа книжонкамъ, а по толкамъ самого народа и семейнымъ преданіямъ, и со своими простыми хорошими отношеніями къ женѣ (лицо, далеко не дорисованное); не столько пьяный Иванъ, въ которомъ, съ его недовѣріемъ къ докторскимъ средствамъ, какъ бы замѣтенъ зачатокъ одного изъ будущихъ лучшихъ типовъ автора («Неиз-

цѣлимаго»); не столько, говоримъ мы, всѣ они, сколько безногій солдатъ, «свернутый съ пути господскимъ сюртукомъ, имѣвшимъ когда-то всемогущія права»,—т. е. тѣмъ, что во времена «крѣпостного права» онъ умудрился въ шутку напялить этотъ сюртукъ себѣ на плечи и былъ за то отданъ въ рекруты. Исторія этого солдата, подробно разсказываемая, исполнена психологическаго интереса. Солдатчина, въ ту пору столь продолжительная, при непризнанности у насъ развода, противъ воли развела его съ женою, надѣлила его затѣмъ, по возвращеніи домой уже калѣкою, лицезрѣніемъ здоровеннаго своего замѣстителя и его дочери, которую сама же мать постоянно бьетъ. Все это приводитъ къ внезапной, покрытой нѣкоторою таинственностью, трагической смерти гулящей женщины, къ побѣгу ея дѣвчонки, которую солдатикъ находитъ потомъ обратившеюся въ «блаженную» и собирается возить въ телѣжкѣ по ярмаркамъ, надоумленный не столько цѣловальникомъ, сколько, разумѣется, своимъ добрымъ сердцемъ съ одной стороны, а съ другой — безвыходной нуждою. Тутъ солдатъ неожиданно сталкивается со старикомъ, соорудителемъ обители въ память самодѣльно явленнаго Мирона мученика (своего рода Парамона юродиваго, только еще очень юнаго). Старикъ пытается выпросить у солдата блаженненькую — въ качествѣ новой самодѣльной святыни. Авторъ дневника отмѣчаетъ при этомъ и молодого человѣка, пристроившагося къ той же обители, ради доставляемаго ею обезпеченія, и сообщающаго ему, что въ ней завелось уже нѣчто совсѣмъ не обительское. Юноша признается ему, что тѣло Мирона далеко отъ

того, чтобы издавать благоуханіе и что это ихъ сильно тревожитъ. «Да вѣдь вамъ хорошо жить», удивленно возражаетъ авторъ дневника. Но это не дѣйствуетъ на молодого человѣка. «Разбѣжимся всѣ, говоритъ онъ. За угодникомъ шли, за нимъ покой имѣли... да вдругъ обманъ... Правда, стало быть, не наша... Да я тады самъ передамся начальству... Уйду»... Это не мѣшаетъ автору дневника, т. е. тому же безсильному Васѣ Черемухину, съ своей точки зрѣнія спрашивать: «неужели на землѣ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ возможности провозгласить открыто, очистивъ отъ могильной тьмы, о законности желанія сытости и тепла?» Но вѣдь то, что̀ представляется ему тутъ примѣсью «могильной тьмы», для народа есть исканіе хоть какого нибудь духовнаго свѣта, безъ котораго не окажется вѣдь ни сытости, ни тепла, такъ какъ «не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ».

Перейдемъ къ третьей части «Разоренья»—«Наблюденіямъ одного лѣнтяя», съ которыхъ мы собственно и начали, такъ какъ они открываются воспоминаніями объ отцѣ, а мы въ немъ усмотрѣли черты, какъ бы родственно связанныя съ Михаиломъ Ивановичемъ. Разсказавъ о смерти своего отца, «лѣнтяй» переходитъ къ себѣ, къ тѣмъ встрѣчамъ, вслѣдствіе которыхъ, какъ и по наслѣдственнымъ своимъ качествамъ, онъ «попалъ въ область Россійскаго протеста помощью лѣни». Съ этимъ протестомъ, конечно, связывается его невѣріе въ тѣ «новые порядки», въ которые такъ вѣритъ Михаилъ Ивановичъ. «Патріанъ, говоритъ «лѣнтяй», могъ въ избѣ Французскаго мужика отыскать слѣды государственныхъ

переворотовъ въ его странѣ... Поищите же въ избѣ нашего мужика ну хоть слѣдовъ такого переворота, какъ земство... Мужикъ исполняетъ «новыя времена», мой товарищъ... то же исполняетъ «новыя времена», а лично каждому изъ этихъ исполнителей, кажется, все равно, что̀ новыя времена, что̀ старыя».

На повѣрку однако оказывается, что мужикъ по-своему объясняетъ, почему не замѣтно особенной перемѣны. «Есть ли у человѣка душа?» спрашиваетъ попадающійся «лѣнтяю» крестьянинъ, отправленный своими въ качествѣ ходока. «Ее оставить нельзя,» продолжаетъ онъ. Почему, отправившись въ ходоки изъ-за земли, онъ сводитъ дѣло *на душу*, это объясняется далѣе тѣмъ, что за землю платить—это «не по божески»... «Есть этакіе раскольники, называемые бѣгуны!»... Вотъ они-то и «разводятъ смуту»... «Самая злющая ересь эта: живи, молъ, самъ по себѣ, отчетъ давай одному Богу; у тебя душа, ты подумай о ней, самъ-то въ навозѣ весь и душа твоя въ навозѣ, душу твою платой обложили, за нее ты платишь, а не думаешь о ней». Изъ подобныхъ-то толковъ крестьянинъ-ходокъ и дѣлаетъ тотъ дальнѣйшій выводъ, что «ежели я, къ примѣру, пойду въ землю, потому я изъ земли вышелъ... Ежели я пойду въ землю, напримѣръ, обратно, какимъ же, стало быть, родомъ можно съ меня брать выкупныя за землю». Это, по замѣчанію «лѣнтяя», совсѣмъ несогласно съ мнѣніемъ станового, что «душу имѣй какую хочешь, мнѣ это наплевать, а по закону исполняй все, что̀ слѣдуетъ». Впрочемъ этотъ становой не изъ далекихъ. Есть и такіе, которые полагали бы, что и душу нельзя имѣть какую

захочешь, что и она должна быть по установленному образцу, не только *податная*, но и *заказная*.

Вторичная встрѣча съ ходокомъ происходитъ у нашего «лѣнтяя» уже послѣ того, какъ онъ неожиданно встрѣтился со старымъ своимъ товарищемъ по гимназіи, Павлушею Хлѣбниковымъ. Бѣда въ его воспитаніи, какъ и въ воспитаніи «лѣнтяя», и заключалась въ томъ, что въ заведеніяхъ того времени именно требовалась «заказная душа». Въ сущности же изъ нихъ выходили совсѣмъ «обездушенными». Особенная же бѣда Павлуши заключалась въ томъ, что онъ родился въ семьѣ, гдѣ «все, съ седьмого колѣна, шло противъ личныхъ чувствъ, противъ личныхъ желаній, убѣжденій и покорялось какой-то тягостнѣйшей необходимости». Отецъ его «происходилъ изъ духовнаго званія, гдѣ, по крайней мѣрѣ пять поколѣній назадъ, люди женились, не любя, занимались дѣлами, почти всегда несоотвѣтствовавшими способностямъ, и были связаны съ мѣстомъ жизни, съ женой, съ людьми, каковы прихожане, родственники и проч., только тѣмъ, что, развязавшись съ ними, должны бы были умереть *съ голоду*». Главная иронія судьбы заключалась тутъ въ томъ, что, при такихъ обездушивающихъ условіяхъ, оффиціально эти-то именно люди и считались, такъ сказать, спеціалистами по душевнымъ дѣламъ. Павлушѣ, выросшему въ такой средѣ, «просто не доставало ощущеній». Онъ надѣялся ими обзавестись въ гимназіи, располагая къ себѣ товарищей подарками, но въ тоже время будучи готовъ и выдать товарища начальству — опять-таки ради ощущеній, только совершенно уже иного рода.

Но авторъ «наблюденій» замѣчаетъ тутъ-же, что онъ «никогда бы не кончилъ, если бы сталъ перечислять сотни видѣнныхъ имъ людей, тщетно... жаждавшихъ освѣтить горестное существованіе какою-нибудь мыслью... Они чахли въ собственной пустотѣ, почти не зная, что они люди»... «Единственный разъ въ моей жизни, говоритъ онъ, я видѣлъ, какъ зашевелилась общественная душа, и когда почти до краевъ было полно существованіе каждаго изъ этихъ мучениковъ.» Это было во время войны и опять-таки той, которая предшествовала «новымъ порядкамъ». «Въ общественной душѣ еще уцѣлѣлъ какимъ-то образомъ какой-то «Турокъ» съ неумытымъ рыломъ, градъ и гробъ Христовы... Всѣ эти вещи были воспитаны крѣпко и почему-то не были тронуты «порядкомъ». Какъ онѣ, пробудившись, оживили всѣхъ и все»... Но «война кончилась, Турку снова нужно было запереть въ душу на неопредѣленное время, и все стало по-старому»... У толпы опять не осталось ничего, и мѣщанинъ, вчера еще разсуждавшій съ женой о политикѣ, теперь снова говоритъ ей свирѣпымъ голосомъ: «что̀ стала? Не знаешь своего дѣла? Загони свинью-то! Давно я за васъ не принимался»... «Мѣщанскій ребенокъ рѣшительно не можетъ выдумать игры въ освобожденіе крестьянъ, о которомъ уже бродили слухи и въ толпѣ, и по-прежнему лѣзетъ головой въ заборную дыру, и оретъ»... По-прежнему разгулялись новѣйшіе Васьки Буслаевы, «вытаскивавшіе изъ земли тротуарныя тумбы, неизвѣстно зачѣмъ... валявшія на землю фонарные столбы, поворачивавшіе крыши на гнилыхъ нищенскихъ избен-

кахъ, мазавшіе дегтемъ ворота даже тамъ, гдѣ вовсе этого не слѣдовало дѣлать. Разворотить заборъ и разметать по сторонамъ доски, «вломиться» туда, куда не пускаютъ, вотъ что̀ дѣлала эта несчастная ватага силачей, не знавшая, куда дѣвать свою силу».

Но вотъ и слухи, бродившіе объ освобожденіи крестьянъ, наконецъ осуществились, наступили и другіе, «новые порядки», нашъ наблюдающій «лѣнтяй» вмѣстѣ со старымъ своимъ товарищемъ Хлѣбниковымъ стали «ходить въ народѣ»,—но настоящей вѣры въ «новые порядки» на первыхъ же порахъ не стало, потому что для вѣры требуется *душа*, а люди воспитывались *обездушенными*...

III.

Новыя времена, новыя заботы.

Такъ озаглавлена новая серія разсказовъ Успенскаго. По первымъ двумъ изъ нихъ можно подумать, что и ему какъ-то плохо вѣрится въ силу и вліяніе новыхъ порядковъ. А у него ли не избытокъ души! Но ежели и въ немъ поколебалась вѣра, то, видно, очень ужь плохо воспользовалась новыми временами наша обездушенная среда.

«Баринъ скучалъ, страдалъ меланхоліей, мужикъ бѣдствовалъ и тоже терялъ аппетитъ жить на бѣломъ свѣтѣ»,—вотъ какъ характеризуетъ нашъ авторъ конецъ крѣпостной поры. «Освобожденіе крестьянъ, пропродолжаетъ онъ, сразу покончило съ этою обоюдною меланхоліей барина и мужика. Какъ только, благодаря

этому событію, что-то такое «отошло» отъ мужиковъ къ господамъ, отъ господъ къ мужикамъ, тотчасъ же и въ тѣхъ, и въ другихъ появились первые проблески чувства собственности»... «Мое» и «наше»—эти ощущенія до такой степени были новыми для меланхоликовъ и до такой степени оказались кстати, какъ для души барина, такъ и для души и желудка мужика, что аппетитъ къ «моему» и «нашему» сталъ возрастать не по днямъ, а по часамъ—и у барина, и у мужика».

Правду сказать, если это сознаніе наконецъ-то достигнутаго «своего», вполнѣ законное у издавна лишеннаго чего-либо такого крестьянина, могло наполнить крестьянскую душу, то барину, если бы только душа у него дѣйствительно тутъ пробудилась, понадобилось бы и кое-что иное для удовлетворенія этой пробудившейся души. Ему понадобилось бы сознаніе того стараго *грѣха*, который заключался въ томъ, что прежде самъ крестьянинъ составлялъ его *собственность*, и что это, вредя крестьянину, развращало барина—въ томъ смыслѣ, что мѣшало ему *принадлежать самому себѣ* — ставило его въ исключительную зависимость отъ чужого труда. Если бы такое сознаніе пробудилось въ баринѣ, то онъ преисполнился бы самой живой благодарности къ той рукѣ, которая, видя въ немъ недостатокъ воли, чтобы самому раздѣлаться съ этимъ грѣхомъ, и дѣйствуя *за него*, скинула этотъ грѣхъ *съ него*. Но баринъ не почувствовалъ благодарности къ этой рукѣ, а скорѣе ее не взлюбилъ,—какъ съ другой стороны даже прямо возненавидѣлъ, сталъ считать непріятелемъ, воюющею стороною только что освобожденнаго мужика. Вразум-

лять тогда барина, растолковывать ему его прародительскій грѣхъ должны бы были, конечно, «спеціалисты по душевнымъ дѣламъ»; нѣкоторые изъ нихъ—немногіе, правда—и пытались это дѣлать, но имъ зажимали ротъ, по внушенію и къ удовольствію того же барина *). Баринъ, вмѣсто того, чтобы очувствоваться и понять, наконецъ, свою собственную пользу — всю прелесть возможности принадлежать самому себѣ, не зависѣть отъ чужого труда, просто укатилъ за границу проживать свои выкупныя, а затѣмъ, при помощи разныхъ управляющихъ, пустился въ такія соображенія, что «ежели что-то «округлить» съ чѣмъ-то, — какъ разъ вчетверо можно получить дохода болѣе противъ прежняго; для этого стоитъ только переселить Распоясовцевъ куда-то въ другое мѣсто, гдѣ имъ все подстать и «еще лучше прежняго». Слѣдствіемъ этого оказывалось, что крестьяне, «ощетинившись», не хотѣли уступить, отправляли въ столицу ходока, дѣйствительно преданнаго ихъ дѣлу—преданнаго *до религіозности*—но незнавшаго, какъ за него взяться, а затѣмъ проигрывали это дѣло, вслѣдствіе различныхъ «пропущенныхъ сроковъ», такъ какъ въ столицѣ не оказывалось между знающими дѣла такой *живой души*, которая откликнулась бы на *мужицкое дѣло* (хотя многіе и откликались на него холоднымъ умомъ—*въ теоріи*, т. е. минуя отдѣльные случаи, вызывавшіе ихъ не на слова, а на дѣло).

---

*) Стоитъ только припомнить исторію священника Гумилевскаго съ его проповѣдью въ Исаакіевскомъ соборѣ, которой пора бы было появиться на страницахъ «Русской Старины».

Между тѣмъ если бъ въ баринѣ въ самомъ дѣлѣ пробудилась душа, онъ бы не только радовался, что съ нея наконецъ свалился грѣхъ, но и постарался бы этотъ грѣхъ загладить, позаботившись о мужикѣ, только-что ставшемъ на свои собственныя ноги и нуждавшемся въ добромъ совѣтѣ, позаботившись даже вовсе не въ ущербъ себѣ, а лишь подъ условіемъ неукатыванія изъ деревни въ Парижъ. А баринъ, вмѣсто того, взглянувъ на мужика, какъ на воюющую сторону, и заставивъ его «ощетиниться», предоставилъ его разоренію и въ буквальномъ и въ иносказательномъ смыслѣ, а затѣмъ выдалъ его на волю Ивану Кузьмичу, о подвигахъ котораго и говорится въ очеркѣ «Книжка чековъ». Иванъ Кузьмичъ, конечно, вполнѣ соотвѣтствуетъ Колупаевымъ и Разуваевымъ у Щедрина, только о немъ, какъ и о подобныхъ ему, говорится у Г. И. Успенскаго безъ всякаго сатирическаго издѣвательства. Иванъ Кузьмичъ, это уже не купецъ прежняго времени, который, просто *мошенничая*, былъ зато «дойною коровою всѣхъ, кто представлялъ собою какую нибудь власть», но при этомъ «считалъ свое дѣло, въ глубинѣ души, не совсѣмъ чтобы побожески». Ивану Кузьмичу не оказывается ни малѣйшей надобности и въ пудовой золоченой свѣчкѣ къ мѣстному образу, — его совѣсть спокойна, потому-что Иванъ Кузьмичъ «даетъ просто оборотъ своимъ капиталамъ, а это не запрещено». Въ результатѣ же такого совершенно законнаго образа дѣйствій выходило, что «купецъ снялъ у барина «все» — и лѣсъ дремучій, и рѣки, и поля, все — все до нитки». Но вышло и болѣе того. «Новораспоясовцы» (т. е. оказавшіеся на новыхъ

мѣстахъ) узнали, что и ихъ Иванъ Кузьмичъ тоже «снялъ» всѣхъ до единаго: «полтина въ сутки пѣшему и рубль конному»; кто хочетъ по *этой цѣнѣ* идти на станцію за пятнадцать верстъ принять оттуда паровикъ «иди». Такова была прокламація Ивана Кузьмича народу». (Прокламація, право, поопаснѣе многихъ, срываемыхъ рукою полиціи). «Человѣкъ—полтина», вотъ суть теоріи, принесенной имъ въ Распоясовскую среду. На счетъ какихъ нибудь «правовъ» тутъ разговора ужь быть не могло». Но вышло еще и того хуже. Иванъ Кузьмичъ, находя, что «женитьба — чистая глупость», ограничивался тѣмъ, что, указывая на какую нибудь бабу, говорилъ своему лакею: «дай ей рубль»,—и лакей приводилъ къ нему бабу. «Все это еще недавно была вещь совершенно невозможная», говоритъ нашъ авторъ. Какъ же однако такъ? Вѣдь и прежде барину даже стоило только пальцемъ поманить и къ нему приходила не одна, а сколько угодно бабъ. Да, но то вѣдь все же считалось *насиліемъ*. Теперь же это только своего рода *заработокъ*. Въ деревнѣ были такимъ образомъ заведены тѣ городскіе порядки, въ силу которыхъ не только купецъ, но и какой нибудь даже свободоглаголивый интеллигентъ посулитъ—ну, не рубль, а красненькую, и правъ—вполнѣ правъ, потому что на эту красненькую идутъ «добровольно»!

Во второмъ разсказѣ—о «неплательщикахъ»—авторъ, вполнѣ уже отличаясь въ этомъ отъ своего Михаила Ивановича, выказываетъ невѣріе въ чугунку, такъ какъ она неразрывно связана съ Иваномъ Кузьмичомъ, который потому только находитъ выгоду рубить, копать, рыть,

вообще опустошать Распоясовское добро, что желѣзная питательная вѣтвь тотчасъ же, въ мгновеніе ока, можетъ за тридевять земель унести все это выкопанное, расколотое, распиленное, поваленное на землю и вывернутое съ корнемъ изъ земли». Что̀ же касается попавшихъ въ руки Ивана Кузьмича Распоясовскихъ обывателей, то имъ остается за нагрузку увезеннаго добра «ни много, ни мало—*по восьми гривенъ съ тысячи пудовъ*, конечно «чистыми деньгами» и конечно по «взаимному соглашенію».

Далѣе авторъ налегаетъ на несоотвѣтствіе цивилизованной чугунки и многаго, съ нею связаннаго, съ допотопною обстановкою многихъ городовъ, черезъ которые она у насъ проходитъ, и бюджетъ которыхъ отъ этого растетъ и урѣзывается зато въ самомъ необходимомъ. Но такое же несоотвѣтствіе оказывается и во многомъ. Словно по щучьему велѣнью, заводятся у насъ разнаго рода дѣла, къ которымъ приставляются различнаго рода вершители, большею частію сами невидящіе въ нихъ никакой пользы. Вотъ ихъ-то и разумѣетъ авторъ подъ именемъ *неплательщиковъ*. Они не только ничѣмъ не обложены, подобно крестьянину, но и сами получаютъ оклады; но участь ихъ, какъ доказываетъ авторъ, незавидная. «Тратить всю жизнь *невзаправду*, уставать отъ хлопотъ вокругъ пустого мѣста,—да этакой муки не вознаградить никакими деньгами». Но вотъ эти-то «неплательщики», ради пополненія своей «оплачиваемой» душевной пустоты, и хватаются жадно за книгу, — отраду, которую авторъ называетъ однако «весьма безплодною». Неплательщикъ, по его словамъ, такимъ об-

разомъ обращается въ «какую-то бездонную прорву, въ которую можно валить томы, вороха напечатанныхъ мыслей и которая все-таки будетъ пуста». Да, потому что книга должна чему нибудь служить, быть связана съ какимъ нибудь дѣломъ, а сами они сознаютъ, что ихъ дѣло—только бездѣлье.

Съ «неплательщиками» непосредственно связанъ очеркъ «Больная совѣсть» *), въ которомъ говорится о томъ же умѣніи культурнаго Русскаго человѣка—и даже не одного культурнаго, но и всякаго, дѣлать такое дѣло, въ которомъ самъ онъ не видитъ дѣла, даже такое, въ которомъ онъ видитъ вредъ, и при этомъ только безплодно *болѣть совѣстью*. Русскому человѣку авторъ, въ этомъ отношеніи, противополагаетъ иностраннаго, до котораго Успенскій, впрочемъ, тоже не особенный охотникъ. «Ни длина и дешевизна Нѣмецкихъ бутербродовъ, говоритъ онъ, ни чистота Нѣмецкой прислуги, ни роскошь и дешевизна Нѣмецкихъ извощиковъ, у которыхъ все по таксѣ, человѣческое достоинство которыхъ дѣлаетъ то, что они ѣдутъ потише, когда ихъ просятъ ѣхать пошибче... Ни одною изъ этихъ прелестей, говоритъ онъ, я несмѣю плѣнять читателя». Онъ подробно упоминаетъ о другихъ заморскихъ прелестяхъ, напримѣръ о Берлинскихъ военныхъ усахъ, которые «какъ бычачьи рога, стремятся васъ запороть, положить на мѣстѣ»; о разныхъ свойствахъ Парижа, въ которомъ, по выраженью одного Русскаго «изъ простонародныхъ», всѣ «порядки приведены въ большую огромность»; о томъ, какъ, во

*) Приложеніе.

имя этой «огромности», члены военнаго суда являются настоящими звѣрями, и ими же остаются и въ перерывахъ засѣданія, и по окончаніи суда—даже при видѣ семьи подсудимаго, приговореннаго ими къ пяти годамъ работъ въ крѣпостяхъ». Авторъ налегаетъ при этомъ на то, что все это «образцовые, сознательные звѣри». Отъ нихъ переходитъ онъ напримѣръ къ родному солдатику Кудинычу, который «много дрался и имѣлъ враговъ изъ разныхъ націй, а поговорите-ка съ нимъ, врагъ ли онъ имъ?» Нѣтъ,—и Черкесъ, и Полякъ, по его словамъ, отличнѣйшіе люди. «Всѣхъ онъ усмирилъ, — и вотъ теперь сидитъ въ караулкѣ, тачаетъ что-то, разговариваетъ съ собаченкой Кургузкой и, вспоминая прошлое, говоритъ: охъ, грѣхи, грѣхи тяжкіе»! Какое же сравненіе: «здѣсь доброта, — тамъ свинство и зло», проговаривается авторъ, какъ бы позабывъ, что очеркъ задуманъ у него съ другимъ умысломъ — показать, что иностранецъ, поступая дурно, способенъ себя сознавать поступающимъ хорошо, и это дѣлаетъ его *цѣльнымъ;* Русскій же человѣкъ частенько *раздвоенъ* — дѣлаетъ именно то, что̀ прямо считаетъ дурнымъ. Отсюда у него тоска, а причина этой тоски — «несвободная, въ грошъ неставящаяся совѣсть».

Впрочемъ въ разсказѣ «Хочешь не хочешь» авторъ самъ утверждаетъ, что и на Западѣ начинается раздвоеніе, что и тамъ изчезаетъ пресловутая, сомнительнаго достоинства цѣльность. «Потомокъ древняго рода, говоритъонъ, сотни лѣтъ воевавшаго во имя одного только права личнаго благополучія своей породы, этотъ потомокъ въ наши дни, получивъ въ свои молодыя руки плоды дол-

гой и упорной борьбы своихъ предковъ... вдругъ обнаруживаетъ отсутствіе аппетитовъ, завѣщанныхъ предками, чувствуетъ кругомъ себя пустоту и безсодержательность жизни въ раззолоченной берлогѣ и не видитъ другого исхода для своего жаждущаго жизни сердца, какъ уйти изъ этой берлоги, проникнуться сильными, долгими, ежедневными страданіями другихъ». «Но на Руси, продолжаетъ авторъ, факты заболѣванія сердца «сущею правдою» являются несравненно чаще, чѣмъ тамъ, у «заправскихъ звѣрей»... захватываютъ почти сплошь весь неплательщичій міръ, да и къ плательщикамъ иной разъ перебираются». Только авторъ утверждаетъ при этомъ, что у насъ такое сплошное заболѣваніе совѣстью «не имѣетъ той чистоты, ясности, естественности», какую тѣ же факты имѣютъ на Западѣ. Онъ объясняетъ это тѣмъ, что у насъ «сегодня вдругъ, неожиданно дѣлается не только возможнымъ, но прямо обязательнымъ то, что́ еще вчера считалось не только необязательнымъ, а прямо невозможнымъ, противозаконнымъ... Какъ бы ни было хорошо это ставшее возможнымъ нынче и небывшее возможнымъ вчера, — въ самый день появленія его на бѣлый свѣтъ въ немъ уже есть червоточина — принудительность... Появляясь внезапно, оно застигаетъ всегда врасплохъ, даже друзей своихъ, и потому надъ всѣмъ этимъ внезапно поднятымъ народомъ постоянно виситъ «хочешь—не хочешь».

Записная книжка автора заключаетъ въ себѣ немало матерьяловъ для такой темы, она указываетъ на «множество людей, заглушавшихъ въ себѣ кротость для необходимой въ данную минуту вражды; заглушавшихъ

въ себѣ отвращеніе для необходимой, теперь именно, потому-то и потому-то, любви». Изъ этой-то книжки и заимствованъ авторомъ тотъ разсказъ, который является въ настоящей серіи третьимъ и свидѣтельствуетъ уже о томъ, что вѣра автора въ силу новыхъ порядковъ окончательно не поколебалась. Разсказъ веденъ такъ, что не во всякомъ, быть можетъ, читателѣ, пробудитъ такую же вѣру въ дѣйствительность или даже *возможность* разсказываемаго, но всякій читатель съ сердцемъ скажетъ: «хорошо, кабы оно было такъ». Человѣкъ, бо́льшую часть жизни прожигавшій жизнь и представлявшійся своему мальчику-сыну тираномъ своей жены, а его матери, спустивъ наконецъ все свое и получая отъ нея лишь столько, чтобы не умереть съ голода, поселяется въ избѣ у одного изъ бывшихъ своихъ крестьянъ,—и тутъ только узнаетъ настоящую цѣну жизни. Онъ начинаетъ учить крестьянскихъ дѣтей, лѣчить мужиковъ, чѣмъ Богъ пошлетъ. Только въ этомъ новомъ своемъ положеніи, нежданно дождавшись свиданія съ сыномъ, остававшимся подъ впечатлѣніемъ его бѣшеной гоньбы въ пьяномъ видѣ на тройкѣ за экипажемъ жены съ дѣтьми, онъ производитъ на того же мальчика уже другое, самое благотворное впечатлѣніе. Узнавъ, наконецъ, того же отца въ этомъ окротѣломъ и трудовомъ видѣ, сынъ, по собственнымъ своимъ словамъ, «впервые ощутилъ удовольствіе отдѣлаться отъ этого ужаснаго бремени: «себя», «своихъ» бѣдъ и несчастій, забывъ ихъ въ общемъ горѣ, въ жадности общаго блага».

Онъ отдѣлался отъ того, что́ клянетъ въ себѣ лицо, ведущее разсказъ въ очеркѣ «На старомъ пепелищѣ».

Это пепелище—родной городъ—стало противно ему именно потому, что во время его дѣтства и отрочества слишкомъ уже тамъ заботились, какъ бы онъ «не изорвался, не измучился, не истерзался, а прожилъ, не волнуясь, покойно, счастливо, былъ бы здоровъ и веселъ»... За излишнія ласки своей родины, онъ «расплатился основательнѣйшими страданіями и не хотѣлъ вспоминать ихъ, такъ какъ у него была уже дорогая родина—вотъ эти самыя страданія». (Вѣдь къ такому *страданію* и приводитъ авторъ всю сущность господствующаго въ наше время переходнаго типа). Вотъ отчего ему такъ противно, когда приходится зажиться въ этомъ родномъ городѣ въ ожиданіи какихъ-то нужныхъ писемъ. Оно, правду сказать, не особенно-то правдоподобно, что, постоянно получая отъ посланнаго одинъ отвѣтъ: «писемъ нѣтъ», онъ не догадывается разспросить, да вѣрно ли онъ называетъ того, кто ихъ ждетъ? или даже лично освѣдомиться на почтѣ. Дѣло не въ этомъ, а въ разсужденіяхъ его во время долгой задержки, да въ томъ, что онъ вдругъ узнаетъ про нѣкоторыхъ изъ прежнихъ своихъ знакомыхъ. Читая отъ скуки принесеннаго ему Рокамболя, онъ увлекается имъ, не смотря ни на какія несообразности, а вспоминая о томъ, говоритъ: «я понялъ въ эти минуты, почему нелѣпый Французскій романъ... съ такою жадностію читается бѣднымъ рабочимъ классомъ; болѣе ужаснаго одиночества, въ какое поставленъ Европейскій рабочій, трудно себѣ и представить; революція, увѣривъ его, что онъ не скотъ, а человѣкъ, все-таки, до сей минуты, не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала:

«ну, братъ, теперь живи, какъ знаешь». Потому-то, чѣмъ менѣе то, что́ въ книгѣ, похоже на то, что́ вокругъ него, тѣмъ лучше, тѣмъ бо́льшимъ избыткомъ жизни наполнитъ она его воображеніе, вмѣсто этой мертвой, окружающей его, пустоты дѣйствительности. Но вотъ, вслѣдъ за Рокамболемъ, приносятъ нашему путешественнику нѣсколько книжекъ старыхъ Русскихъ журналовъ, и онъ припоминаетъ ту пору, когда книгѣ «приходилось ухаживать за почтенной публикой, раздавать ей модныя картинки, чуть не пряники, чтобы просунуть въ глубину этихъ мильоновъ страничку, много листъ, замаскированной, наглухо запутанной правды». Когда же, съ «новыми порядками», сказался усиленный запросъ на правду уже не запутанную, на сердце, «да еще какое большое», когда литературѣ пришлось пробуждать къ жизни живыми примѣрами, тогда она, по мѣткому выраженію автора, «принялась лѣпить новыхъ людей».—«Эти невѣроятныя краски, преувеличенія, выдумки какъ нельзя лучше говорили, въ какомъ ужасномъ положеніи осталась отъ прошлаго душа толпы».

Пусть не обижается авторъ, если мы скажемъ, что къ числу не живыхъ, а вылѣпленныхъ людей, относится и въ его собственномъ разсказѣ тотъ идеальный столяръ, за котораго выходитъ замужъ Вѣрочка, чтобы затѣмъ лишить себя жизни отъ не переваренныхъ ею совершенствъ своего мужа (о чемъ ведущій разсказъ нечаянно узнаетъ во время стоянки своей въ родномъ городѣ). Пусть не обидится авторъ и тѣмъ, если мы скажемъ, что и повѣствующая о Вѣрочкѣ старушка, когда-то заурядная коптительница неба,—теперь же, во

время разсказа, самая преданная своему дѣлу учительница въ городской школѣ, представляется намъ нѣсколько вылѣпленною, разсказъ же ея слишкомъ напоминающимъ глубокомысленный языкъ самого автора (недостатокъ, замѣчаемый, какъ извѣстно, и въ романахъ Достоевскаго). Дѣло совсѣмъ не въ этомъ, а въ мысляхъ, какими переполненъ этотъ разсказъ,—все въ тѣхъ же, но не напрасно повторяемыхъ, мысляхъ автора о томъ, что жизнь только тамъ, гдѣ душа, а гдѣ нѣтъ души или гдѣ она сказывается слишкомъ поздно, тамъ сыновья кончаютъ мошенничествомъ, дочери побѣгами съ милымъ сердцу, а тѣ, что́ получше, самоубійствомъ.

Старушка, разсказывающая про Вѣрочку, какъ и старикъ, про котораго разсказываетъ его сынъ (въ «Хочешь—не хочешь»), излѣчены отъ своихъ нравственныхъ недуговъ неожиданными для нихъ испытаніями. Но вотъ передъ нами, въ слѣдующемъ очеркѣ Успенскаго—«*Неизлѣчимый*». Это одинъ изъ самыхъ лучшихъ его очерковъ, достойный стать на ряду съ «Парамономъ юродивымъ». Повидимому болѣзнь «неизлѣчимаго»—только обыкновенный запой. Но дѣло въ томъ, отчего онъ, отецъ дьяконъ, подобно многимъ, увы! спеціалистамъ по душевнымъ дѣламъ, поставленъ въ тѣ наименѣе удобныя условія для души, а тѣмъ болѣе для дѣйствія на чужія души, съ которыми насъ уже познакомилъ авторъ. Подобно другимъ, когда везли его отъ вѣнца, дьяконъ не зналъ, что́ ему сказать женщинѣ, которую съ нимъ везли; онъ только видѣлъ, что «чужой человѣкъ съ нимъ сидитъ». Потомъ отецъ дьяконъ какъ будто освоился со своимъ положеніемъ. «Помню, раз-

сказываетъ онъ, когда посвящали меня, мнѣ пришло въ голову: не грѣхъ ли это? Не безсовѣстно ли? Но домъ, да садъ, да жирный бокъ жены... упругій, молодой бокъ этакій»... Дѣло въ томъ, что онъ все еще не умѣлъ говорить съ женой, а ужь «чувствовалъ, что можетъ обнять ее и—что-то жадное пріятно текло у него въ крови... Словомъ, свиной человѣкъ преоборолъ и побѣдилъ»... Онъ окончательно побѣдилъ, благодаря примѣру начальника—отца Ивана. «Рубъ, гривенникъ, «бумажка»—словомъ, деньги во всѣхъ видахъ и качествахъ—это былъ его Богъ, это была его подлинная вѣра, надежда, любовь и Софія - премудрость — все!» «Онъ, отецъ Иванъ, продолжаетъ опредѣлять его отецъ дьяконъ, есть не болѣе, какъ кошелекъ, я думаю, онъ и самъ такъ представлялъ себя, кошелекъ одушевленный.» Оба они, по выраженію дьякона, *звѣринствовали*, долго звѣринствовали. Оно бы и прекрасно, если бы не встрѣча съ народной учительницей изъ новыхъ, которая, при простодушно звѣринскомъ разсказѣ дьякона о курицѣ, ухваченной у крестьянина, невольно вскрикнула: «да вѣдь вы проповѣдуете прямой разбой!» Крѣпко запали въ него эти слова. «Нежданно, негаданно, говоритъ онъ, въ освинѣлую мою душу вдругъ влетѣло что-то божеское (оно бы, казалось, не могло ему быть въ диковину при его профессіи, но стало диковиной — именно потому, что тутъ была только *профессія*). Впечатлѣніе лишь усилилось отъ того, что учительница оказалась не кѣмъ инымъ, какъ г-жей Абрикосовой, для школы оставившей своего богатаго мужа. «А бракъ-то?» (думалъ со своей профессіонной точки зрѣнія

пристыдить ее отецъ дьяконъ). «Бракъ требуетъ любви, отвѣчаетъ она... Что-жь мнѣ дѣлать, если я не люблю, а лгать я не могу.» (Повидимому, у нея не было дѣтей, что̀ осложнило бы ея положеніе; съ мужемъ, какъ видно изъ разсказа, она жила недолго). — «А вмѣсто брака, настоящаго брака, могла бы она въ свою очередь пристыдить его, — только жирный бокъ жены — это хорошо, что ли?» Но какъ дѣти отъ Парамона юродиваго, такъ дьяконъ съ отцомъ Иваномъ вздумали оградить себя отъ учительницы гадкими подозрѣніями на ея счетъ — будто отъ мужа она ушла съ милымъ другомъ, на счетъ котораго и живетъ, благодушествуя въ своей школѣ. Но, не смотря ни на какія подозрѣнія и клеветы, дьякона такъ и тянетъ къ той же Г-жѣ Абрикосовой, такъ что жена съ теплымъ бокомъ невольно начинаетъ ревновать его къ ней. Но стоило только ей самой побывать у учительницы, — и ревности положенъ конецъ, а сама она попадаетъ подъ вліяніе той-же учительницы. Такимъ образомъ толчокъ, сильный толчокъ данъ былъ со всѣхъ сторонъ отцу дьякону, — отъ толчка этого пробудилась совѣсть, освѣтившая передъ нимъ все прежнее, потребовавшая совершенно иного въ будущемъ, — а силъ-то и не хватило у «заспавшейся въ свиномъ хлѣвѣ» души! Отсюда-то и запой — со всѣми его послѣдствіями, и внутренними, и внѣшними.

Отъ запоя начинаетъ лѣчить отца дьякона знакомый докторъ. Предполагая, что въ немъ ужь не кровь, а сусло, онъ прописываетъ ему желѣзо и освѣдомляется, принимаетъ ли тотъ его. «Да въ душу-то вступаетъ ли?» добивается отъ него, вмѣсто того, чтобы отвѣчать,

отецъ дьяконъ. «Какой мнѣ разсчетъ тамъ нервы эти самые, продолжаетъ онъ, ежели оно не попадаетъ въ самую точку»... Когда докторъ, все болѣе и болѣе сердясь, напираетъ на одно, — что желѣзо принимать надобно, дьяконъ только далѣе развиваетъ свое: «вы говорите, порошки тамъ, нервы, напримѣръ, органы и все этакое — вѣдь это физика?» Докторъ недоумѣваетъ. «Т. е. матерія, но не духъ, вотъ какъ я думаю.»—Порошки то не духъ?—«Порошки не порошки, а напримѣръ все прочее, весь составъ?»—А-а, ну хорошо, ну, матерія... «Изволите видѣть, упорно философствуетъ дьяконъ, даже и у Португалова не сказано прямо такъ, что молъ — все одно... Ежели бы такъ, то взять палку— вотъ тебѣ хребетъ, обмоталъ бичевкой — нервы, еще чего нибудь наддалъ — и хоть въ мировые посредники выбирай.» — Хотя на это и можно бы возразить, что *comparaison n'est pas raison*, но и у доктора языкъ не поворачивается сказать, что отецъ дьяконъ все это говоритъ ради только привычки къ своей профессіи... Видно, въ словахъ дьякона все-таки слышится ему и что-то здравое... Не напрасно же онъ и сердится. «Ты сердишься, Юпитеръ, стало быть ты не правъ», могъ бы ему возразить дьяконъ. Но онъ только продолжаетъ: «какъ матерія имѣетъ на свою пользу разныя специи, такъ равно и духъ ихъ имѣетъ.» И онъ въ самомъ дѣлѣ правъ, — вѣдь у него *душа больна*. Если ему и нужно желѣзо, то не то только, которое входитъ въ кровь и придаетъ силу мышцамъ, а то, которое давало бы и надежный закалъ душѣ! — Сбитый съ толку докторъ замѣчаетъ очень остроумно, что «тутъ во всемъ городѣ

ни одинъ человѣкъ не знаетъ, что у него есть духъ и есть тѣло... имъ бы только жалованье получать... Мнѣ спрашивать объ этомъ некого»... Но вѣдь это только увертка. А дьяконъ упорно добивается до своего: «ежелибы, напримѣръ, основательное чтеніе, говоритъ онъ... порошки для тѣла, книги—для духа». Докторъ радъ радехонекъ этой мысли, только чтобъ отвязаться. Онъ готовъ одолжить и книжекъ. У него, къ тому же, оказываются книжки не только по части матеріи, но и, напримѣръ, Шлоссеръ. Но дьякону хочется начать чтеніе «съ корня», и вотъ докторъ сулитъ ему что-то «до человѣка». А вѣдь надо бы именно *съ человѣка*, съ начала *настоящаго* человѣка, а онъ и у Шлоссера-то не совсѣмъ еще начался... Онъ было начинался, да такъ и заглохъ въ исторіи; отчего заглохъ? Какъ оживить его — какъ въ человѣкѣ отыскать *человѣка?*

Таковы вопросы, на которые наводитъ метаніе спившагося дьякона. Какъ бы то ни было, въ немъ живая улика тому взгляду, во имя котораго и для *успокоенія души* рекомендуется только *абсолютный покой*—уѣзжай себѣ куда нибудь тамъ въ Швейцарію—въ горы, ни о чемъ не думай, ничего не чувствуй, только дыши горнымъ воздухомъ. Какъ это просто, и вмѣстѣ какъ глупо! «У человѣка душа болитъ, а вы, прохво...» невольно приходится повторить вслѣдъ за дьякономъ. Но доктора, да и не одни доктора, отвѣтятъ, пожалуй, на это: «Душа, какая душа? Души вѣдь не полагается». Это невольно напоминаетъ намъ одно давнишнее засѣданіе въ одномъ, давно ужь несуществующемъ обществѣ. Въ какомъ-то читанномъ тамъ рефератѣ часто попадалось

слово: *душа*. Кто-то сталъ возражать: «мы, кажется, еще прошлый разъ рѣшили, что души нѣтъ.» Какъ это опять просто... и какъ глупо!

Съ заглавіемъ «неизлѣчимый» сходно заглавіе «не воскресъ», данное слѣдующему очерку (изъ разговоровъ про войну). Тутъ представляется намъ соотечественникъ, долго проводившій время въ кружкахъ Русской заграничной молодежи, а затѣмъ ухватившійся за одну изъ тѣхъ «одровъ-идей», которыя «живутъ подъ разломанными деревянными крышами» и которыхъ только изрѣдка кормятъ солдаты, богомолки, кормятъ старой соломой. «Это та «одеръ-идея» о борьбѣ съ Туркой, притѣсняющимъ Христіанина, которая въ 1876 г. представилась и многимъ изъ нашихъ соотечественниковъ «спасающею общество отъ гибели» и направила ихъ, въ качествѣ добровольцевъ, въ Сербію. Но Долбежниковъ скоро разочаровался въ этой идеѣ. Ему достаточно было непріятнаго ощущенія отъ того, что онъ, какъ водится на войнѣ, убилъ Турку, да кѣмъ-то ему внушеннаго взгляда, что вся-то война началась «за свинку», т. е. изъ за того, что Сербскіе купцы «хотятъ пріобрѣсть оружіемъ право продавать свинью не сырою, какъ прежде (подъ опекою Турціи), а уже копченою». Ему достаточно было этого, чтобы разочароваться. Правда, тутъ присоединилось еще и впечатлѣніе отъ Сербскаго мальчика, убѣжавшаго отъ Нѣмца, которому отдала его на выучку мать. Долбежниковъ не спасъ его отъ этихъ хищныхъ рукъ, опять его заграбаставшихъ, а спасти этого мальчика было бы, видите ли, умнѣе, чѣмъ воевать «за свинину». А сколько такихъ мальчиковъ и на Руси и во всякихъ стра-

нахъ, и не бросается же онъ имъ на выручку? Окончательный выводъ этого «Гамлета отъ Сербской войны» тотъ, что самые лучшіе люди, это тѣ заграничные Русскіе, которые, по его же словамъ, «тѣмъ и плѣнительны, что ничего не дѣлаютъ».

Правда, авторъ и самъ представляетъ намъ не мало разочаровывающаго въ образѣ тѣхъ соотечественниковъ, которые тогда дѣло дѣлали въ качествѣ добровольцевъ. Онъ видѣлъ ихъ на возвратномъ пути и замѣтилъ въ нихъ что-то «близко подходящее къ тоскѣ гимназиста, возвращающагося въ гимназію послѣ каникулъ.» Но ихъ положеніе было тѣмъ печальнѣе, что «не очень веселило ихъ все то, что́ они во время Сербскаго каникулярнаго времени узнали сами о себѣ». Прежде онъ, Русскій человѣкъ, думалъ, что «онъ жертва интригъ, несправедливостей, притѣсненій, жертва людской неблагодарности... и былъ твердо увѣренъ, что освободись онъ хоть на минуту отъ всѣхъ вышеупомянутыхъ бѣдъ, такъ сейчасъ же, сію минуту, всѣ увидятъ, какъ онъ добръ, благороденъ, великодушенъ...» А теперь... онъ чувствуетъ что-то совсѣмъ другое... «Былъ данъ тебѣ отдыхъ, или нѣтъ? вопрошаетъ его совѣсть... Какъ же ты воспользовался имъ?» — Безобразно. — «Дали тебѣ денегъ?» — Дали. — «Куда же ты ихъ дѣвалъ?» — Такъ (очень удобный отвѣтъ, когда не хочешь отвѣчать прямо). — «Нѣтъ, пристаетъ совѣсть, ты говори, куда именно; это — деньги кровныя; это — копейки, гроши, данные на святое дѣло. Куда ты ихъ дѣвалъ?» — Пропилъ. — «Еще?» — Ну... тамъ... «Свинья! утверждаетъ совѣсть...»

Что такое мнѣніе о нашихъ добровольцахъ — не пол-

ное и не окончательное мнѣніе автора, это видно по его «письмамъ изъ Сербіи». *) Между этими самыми людьми, говоритъ онъ тутъ, «попадались такіе бриллiанты искренности, доброты, простоты, самоотверженія, о какихъ въ обыкновенное время никому на Руси не приснится и во снѣ». Чтó служило основнымъ побужденіемъ для этихъ людей? «Человѣка грабятъ, а я смотрѣть буду? Человѣка грабятъ, а я молчи?» Въ этомъ, конечно, гораздо больше души, чѣмъ въ резонерствѣ нашего геніальнаго писателя о «непротивленіи злу». А вѣдь у нихъ, этихъ Русскихъ людей, не было ничего общаго съ тѣми Сербами, которыхъ они спасали отъ грабежа, «кромѣ общей для обоихъ потребности освободиться отъ подчиненія Западно-Европейскому ходу жизни», причемъ, поясняетъ нашъ авторъ, «младшій братъ отлично знаетъ это подчиненіе, а старшій хоть кряхтитъ отъ убытка, но откуда онъ идетъ, не знаетъ, а полагаетъ только, что виноватъ тутъ волостной старшина или пьяница прохвостъ-писарь...»

Но изъ ряда нашихъ добровольцевъ авторъ особенно выдвигаетъ одного 60-лѣтняго старика. «Какъ пишутъ-то: подъ Туреччиной Христіанству быть, или освобожденіе выйдетъ?» спрашивалъ онъ послѣ печальнаго исхода Сербской войны. — Не знаю, дѣдушка, отвѣчалъ ему спрошенный. — «А какъ подъ Туреччиной оставитъ совѣтъ-то?» — Оставитъ, пожалуй, и подъ Туреччиной? — «А чего-же Христіанство-то смотритъ?» У старика были

*) Они напечатаны въ приложеніи къ 4-му тому прежняго изданія, но мы за одно разсматриваемъ ихъ здѣсь-же.

двѣ раны навылетъ, сверхъ того, отступая задомъ и отстрѣливаясь, онъ себѣ грудь разшибъ; но онъ утверждалъ, что его «только поцарапали», и вышелъ изъ больницы, чтобы не отнимать мѣста у болѣе опасно раненыхъ. Да и вольнѣе было ему на чистомъ воздухѣ любоваться на Дунай-рѣку. «Не то ты, Дунай великій, что́ малыя рѣки,» страстно говорилъ онъ. Удержишь ли этакую-то силу Господню въ неволѣ-то?.. И народъ тоже самое... Малый народъ Христіанскій въ неволѣ, что́ рѣчка малая. Запруди ее—и не вырваться ей изъ неволи-то... Не хитро малые-то народы въ неволѣ держать... А великія рѣки, хоть Дунай, хоть Волга великая рѣка, какъ поналяжетъ она на запруды, да на колья вбитые...» Тутъ и его собесѣдникъ понялъ, что «есть смыслъ въ дѣлѣ, за которымъ онъ пріѣхалъ сюда, въ первый разъ дѣло это показалось ему велико и свято»... *)

Оказалось, что этотъ доброволецъ старикъ былъ изъ *раскольниковъ*. Къ нимъ принадлежалъ и знакомый намъ отецъ «лѣнтяя». Но у того бодрствованіе души выражалось только словесною бранью. Этотъ — боролся «взаправду.»

Добровольчество Русскихъ культурныхъ людей, какъ видно изъ того, что́ изложено повыше, понято авторомъ, какъ исканіе выхода изъ трудностей нашего переходнаго положенія. Это положеніе снова рисуется имъ въ

*) Авторъ говоритъ, что заимствовалъ это изъ чьего-то дневника.

началѣ разсказа «Голодная смерть». *) Сущность его въ томъ, что «необходимость жить своимъ умомъ» почувствовали, наконецъ, сотни тысячъ людей, «благодаря крѣпостому праву не имѣвшихъ ни возможности, ни силъ распознать въ себѣ образъ и подобіе Божіе». Трудности положенія стали многихъ приводить даже къ самоубійству. О ближайшихъ причинахъ его и толкуетъ за клубнымъ ужиномъ «проклинающій свою профессію» фельетонистъ. Имѣя въ виду особый видъ самоубійцъ, онъ находитъ, что «умираютъ такъ люди собственно отъ испуга самихъ себя». Разговоръ приводитъ къ тому, что тутъ же присутствующая сельская учительница берется разсказать про крестьянскаго мальчика, который пришелъ къ такому же испугу. Авторъ, повидимому, постарался тутъ не самъ говорить устами сельской учительницы, а дать ей говорить по своему, со свойственной ей точки зрѣнія. Не онъ, а она такимъ образомъ впадаетъ въ преувеличеніе, говоря о полнѣйшей заброшенности Ѳеди, выросшаго на рукахъ у матери, загулявшей во время долгаго отсутствія мужа: «никому не было жалко ихъ, точно это—не люди, а гнилое, захудалое дерево, которому нечѣмъ жить и которое засохнетъ непремѣнно... Эта жестокость имѣетъ свои основанія уже въ томъ, что всякій изъ крестьянъ живетъ въ такихъ же условіяхъ и твердо знаетъ, какъ про себя, такъ и про другихъ, что-если у него *ничего* нѣтъ, то *никто ничего* ему и не дастъ, никто ничѣмъ не помо-

*) См. опять 3 т. прежняго изданія (серію разсказовъ «Новыя времена—новые нравы»).

жетъ.» Это не совсѣмъ-то согласно съ тою жаждою даже душу свою положить за другихъ, даже не ближнихъ, а дальнихъ, которую нашъ авторъ выставляетъ на видъ въ своихъ «письмахъ изъ Сербіи». Нѣсколько страннымъ представляется намъ съ другой стороны въ устахъ сельской учительницы и признаніе «совѣстливости и гуманности» за тѣми праздношатающимися барами, которые, вернувшись въ деревню изъ-за границы, позвали Ѳедюшку приходить играть съ ихъ Мишей—не ради признанія человѣка въ Ѳедюшкѣ, а ради того, какъ потомъ оказывается, чтобы Ѳедя служилъ «куклой для примѣра» нелюбимому матерью Мишѣ. Вѣдь какъ только вышло наружу, что, стоя за спиной у барченка, Ѳедя преисправно выучился читать,—такъ ужь и заговорило въ господахъ не столько родительское, сколько барское самолюбіе. Правда, признавъ Ѳедю «лишнимъ», они не окончательно прогнали его, а даже надѣляли книжками, хотя и приговаривали: «вѣдь не поймешь ничего». Но Ѳедя многое понималъ — «исключительно помощью сердца». Разсказчица (т. е. тутъ ужь устами ея самъ авторъ) по поводу этого дѣлаетъ такое глубокомысленное замѣчаніе: «никто никогда, ни одинъ самый завзятый начетчикъ и грамотѣй крестьянскаго званія не можетъ разсказать, о чемъ такомъ ему читаютъ, но всякій знаетъ, въ чемъ дѣло, потому что сердцемъ понимаетъ сердце автора, будь то царь Давидъ, апостолы, самъ Христосъ». Такъ и Ѳедя, читая, что̀ попадется подъ руку — романъ ли какой, послѣднюю ли книжку журнала, постоянно «чуялъ сердце книги», а «сердце въ то время, поясняетъ авторъ, было у книги чистое и

доброе» (хотя уже сказывалось и «общее шаромыжнически-практическое и плутовски улыбающееся сердце газеты»). Ѳедѣ вскорѣ пришлось окончательно припасть къ книгѣ— послѣ того, какъ его оттолкнулъ отъ себя съ такимъ нетерпѣніемъ ожиданный имъ отецъ, вернувшійся наконецъ и выпоровшій шестнадцатилѣтняго уже подростка по случаю его нѣсколько грубаго заступничества за мать. Сердцемъ обманувшись въ отцѣ, Ѳедя бѣжитъ, попадаетъ въ Нижній, служитъ тамъ половымъ, зарабатываетъ деньгу и пробирается въ Питеръ, гдѣ и столкнулась съ нимъ наша сельская учительница. Оказалось, что Ѳедя изливаетъ боль своего сердца, боль не только за себя, но и за всѣхъ горемыкъ, въ стихахъ; что эти свои неуклюжіе, долговязые, но прошедшіе черезъ душу, стихи онъ, наконецъ, потащилъ въ какую-то редакцію. Его затѣмъ потрясаетъ не столько то, какъ приняли его тамъ, сколько слова учительницы, думавшей его успокоить тѣмъ, что объ этомъ уже много было писано, и прочитавшей ему два-три сильныя стихотворенія на ту же тему. «Такъ ничего и послѣ этого?» спросилъ озадаченный юноша.— Его озадачило именно то, что и такіе чудесные стихи— не его кропанью чета—однако-же не подѣйствовали, что все у людей осталось по-старому. Онъ окончательно сраженъ тѣмъ, что послѣ того, какъ его встрѣтилъ тотъ же отвергшій его труды редакторъ и сунулъ ему въ руку какую-то бумажку, онъ, взявъ ее, вернулся домой уже не въ своемъ видѣ. «Взявъ, поясняетъ разсказчица, деньги отъ человѣка, который объявилъ ему, что ему надоѣли всѣ эти страданія (а онъ именно такъ и выразился по поводу стиховъ юноши), Ѳедоръ продалъ свое

право страдать за людей, самъ оказался дрянью... Прежде онъ былъ испуганъ людьми, а теперь испугался самъ себя... и въ такомъ испугѣ не замѣтилъ, что не пьетъ не ѣстъ, не умираетъ съ голода.»

Послѣдній разсказъ занимающей насъ серіи — это «Три письма» (изъ воспоминаній «безнадежнаго»). Оказавшійся потомъ «безнадежнымъ» долго слишкомъ надѣялся на себя—на свой полный разрывъ со всѣмъ семейнымъ и старымъ, осужденнымъ въ виду чего-то громаднаго новаго, которое, думалъ онъ, принадлежало не «имъ» а «намъ». Долго поглядывалъ онъ свысока на своего университетскаго товарища, скромно дававшаго уроки и ежемѣсячно посылавшаго деньги матери. Его величали «иностранцемъ», такъ какъ отецъ его былъ Швейцарецъ (а мать Русская). Разскащикъ проситъ, однако, не принимать этого прозвища въ иносказательномъ смыслѣ—напрасно, пожалуй: если признать, какъ благопріятно дѣйствуетъ на цѣлую націю разнородность ея состава, то почему это не можетъ быть вѣрно и относительно отдѣльной личности? При поглядываніи на «иностранца» свысока, что-то однако «влекло къ нему». «Безнадежный» съ другой стороны ему и завидовалъ, понимая, что онъ «прочнѣе его чувствовалъ себя на бѣломъ свѣтѣ». Теоретически презирая его за крѣпкія связи съ родной семьей, за слишкомъ большую заботливость о ней, онъ только впослѣдствіи понялъ, что если самъ онъ иначе глядѣлъ на семью, то все тутъ зависѣло отъ «разницы ихъ семей». Въ семьѣ «иностранца» всѣ работали, потому что были бѣдны, привыкли взаимно себя уважать за трудъ. Въ семьѣ «безнадежнаго», которая

была побогаче, никто не зналъ, какъ получаются деньги— отецъ «тщательно скрывалъ свою битву съ жизнью за хлѣбъ».—«Не было, стало быть, главнаго основанія для того, чтобы уважать другъ друга, по разумному основанію взаимной помощи; не было развивающей понятіе о жизни связи живыхъ людей.» Впослѣдствіи, подъ вліяніемъ новыхъ вѣяній, у «безнадежнаго» завелась «самая полная, ничѣмъ нестѣсняемая ширь взглядовъ», но при этомъ у него оставалась «самая широкая невнимательность въ сосѣду, именно къ тому, для котораго и существовали эти широкіе взгляды, съ которымъ и надо жить этими взглядами». Онъ сталъ, по его же словамъ, «существовать для идей, отрѣшая ихъ отъ себя». Онъ могъ бы «жить, ощущая подъ ногами почву, только въ томъ случаѣ, если бы ему пришлось всю жизнь стоять внѣ людской толкучки, фигурировать надъ ней»... Онъ могъ бы жить, «кое-какъ скомкавъ въ кучу всѣ личныя желанія», лишь бы ему «быть увѣреннымъ, что онъ исполняетъ нѣчто высшее». «Напротивъ «иностранецъ» жилъ именно такъ, какъ лично ему казалось нужнымъ, честнымъ и совѣстливымъ. Изъ моей породы, формулируетъ «безнадежный», выходятъ «слѣпые» исисполнители великихъ и малыхъ идей, изъ породы «иностранца» выходятъ «живые люди». На повѣрку оказывается, что изъ него самого даже ничего не вышло.

Разставшись съ «иностранцемъ» при полученіи имъ мѣста домашняго учителя, «безнадежный» мѣсяца три спустя получилъ отъ него письмо. Оказалось, что «иностранецъ поступилъ въ одну изъ наибезтолковѣйшихъ барскихъ семей—до тла разорившуюся и изолгавшуюся

ради того, чтобы казаться зажиточною,—впрочемъ не ради одного этого, но и ради давнишняго отсутствія въ ней всякой правды. Это не мѣшало той же семьѣ, т. е. мужу и женѣ, быть по-своему искреннею и откровенною въ обоюдномъ развратѣ, блистательно ею развитомъ въ Парижѣ—прямо даже на глазахъ у дѣтей, отлично, разумѣется, все понимавшихъ и усвоившихъ себѣ особую игру въ скандалезныя похожденія папаши и мамаши. Семья эта обрисована у автора мастерскою кистью. Такъ и видно, что въ немъ таится и настоящій объективный художникъ, способный къ большому творческому труду, отъ котораго отвлекаетъ его лишь крайняя, недающая ему сосредоточиться, впечатлительность. Въ обрисовкѣ этой семьи есть развѣ маленькія ошибочки—напримѣръ то, что дѣти родителямъ говорятъ: *ты*. Сколько намъ помнится, именно въ такихъ семействахъ соблюдался обычай вѣжливо быть съ родителями на *вы*, что́, разумѣется, не мѣшало подчасъ говорить: «вы, маменька, врете». Попавъ въ такую среду, «иностранецъ» сперва рѣшилъ сейчасъ же и раздѣлаться съ нею, но его удержала жалость къ дѣтямъ, которыя были бы предоставлены безъ него окончательному развращенію.

Изъ письма, полученнаго отъ него года три спустя, бывшій его товарищъ узналъ уже нѣчто совсѣмъ неожиданное — что, послѣ смерти отца семейства, «иностранецъ» рѣшился жениться на его вдовѣ, чтобы избавить дѣтей отъ другого отчима — ихъ опекуна, принявшагося приводить въ порядокъ ихъ дѣла посредствомъ искуснаго резоренія крестьянъ. Устранивъ его и женившись на M-me Нееловой, «иностранецъ» взялъ

дѣла въ свои руки и предоставилъ ихъ естественному ихъ ходу. Разорились уже не крестьяне, а сама барская семья, разорилась вполнѣ заслуженно,— но дѣти, поставленныя на дорогу труда, спасены были отъ окончательнаго грозившаго имъ развращенія.

Во всемъ этомъ, на нашъ взглядъ, есть своего рода несообразности. Допустимъ, что «иностранецъ» могъ дойти въ своемъ чувствѣ долга до изувѣрства, сдѣлавшаго его способнымъ жениться на женщинѣ, къ которой онъ чувствовалъ только отвращеніе. Допустимъ, что то же изувѣрство могло заставить его, разъ уже ставшаго на почву заботъ о чужой семьѣ, предпочесть ее своей матери, хотя онъ при этомъ и разсуждалъ: «моя труженица-старушка не чета этимъ расхлябаннымъ, развинченнымъ, безсодержательнымъ людямъ; она—живой любящій человѣкъ, а это—грибы на крѣпостной кучѣ, и, кромѣ погибели вмѣстѣ съ кучей, на которой они выросли, имъ ничего не предстоитъ въ будущемъ, да и не можетъ предстоять». Но какъ допустить, чтобы сама М-me Неелова рѣшилась предпочесть «иностранца»-учителя тому опекуну, который такъ блистательно принялся за приведеніе въ порядокъ ихъ разстроенныхъ дѣлъ. Молодость учителя тутъ вѣдь непричемъ, — при хорошихъ средствахъ и при своихъ привычкахъ, она всегда могла бы обзавестись и при мужѣ молодымъ человѣкомъ (въ качествѣ хотя бы какого-нибудь новаго учителя) и преизрядно обманывать поглощеннаго хозяйствомъ супруга. Но дѣло не въ этихъ несообразностяхъ, а въ замыслѣ автора — показать, что человѣкъ, воспитавшій въ себѣ самоотверженіе въ предѣлахъ бли-

жайшаго родственнаго круга, оказывается готовымъ перенести то же самоотверженіе и въ отдаленный, совсѣмъ ужь не родственный кругъ. Чувствуя тяжесть своей жертвы—особенно при мысли о матери—«иностранецъ» поддерживаетъ себя вопросомъ: «а честно оставлять на съѣденіе трехъ честныхъ людей (дѣтей Нееловой), честно обрывать начавшее пробуждаться въ нихъ сознаніе любви къ ближнему? Честно покидать этого ближняго, для котораго на моихъ рукахъ растутъ три добрыя существа»? Вотъ ужь онъ какимъ образомъ расширяетъ свою задачу. «Не велика бѣда, утѣшаетъ онъ себя, что меня нѣтъ въ живыхъ, — зато сколько ростетъ живаго, хорошаго на моей могилѣ.» Ему тѣмъ не менѣе нужно бы одобреніе отъ бывшаго товарища, всегда выказывавшаго пренебреженіе къ его прежнимъ заботамъ только о своихъ, всегда говорившаго ему объ *идеяхъ*. А товарищъ, вмѣсто одобренія, приводитъ ему въ отвѣтномъ письмѣ «доказательства безполезности единичныхъ жертвъ», говоритъ о томъ, что «необходимо измѣнить порядки, а съ нами измѣнятся и люди». Онъ въ то время, по его же позднѣйшему признанію, еще самъ не понималъ, что «лично ему присущая легкость жертвовать «мелкими» интересами людей... во имя интересовъ общихъ—есть несовершенство, неразработанность его нервной системы, его человѣческаго достоинства, а вовсе не признакъ высшаго развитія, высшаго порядка убѣжденій»... Только впослѣдствіи понялъ онъ, что «время все болѣе и болѣе идетъ къ «человѣческому образу жизни», все болѣе требуетъ, чтобы человѣкъ-то былъ хорошъ, чтобы личность-то берущагося за дѣло чело-

вѣка была хороша»... Отъ слабости такого сознанія въ прежнее время и выходило, по теперешнему его объясненью, то, что, «начавъ за здравіе, всеобщее здравіе, кончали упокоемъ — т. е. собственнымъ своимъ упокоемъ,—въ банкахъ, въ желѣзнодорожныхъ правленіяхъ и во всякаго рода учрежденіяхъ, приносящихъ пользу... только кому?»

Послѣ третьяго письма «иностранца», бывшій товарищъ отправился его посѣтить. Онъ засталъ его уже разошедшимся съ женою, проживающимъ съ ея дѣтьми въ деревенской избѣ, въ качествѣ обыкновенныхъ мастеровыхъ (только Лиза училась на фельдшерскихъ курсахъ). Для бывшаго товарища «вся великость подвига этого человѣка утратилась, когда онъ увидалъ тѣ скудныя формы, въ которыя вылился этотъ подвигъ». Но когда, сталъ онъ потомъ признаваться, на него нападала гложущая, самобичующая тоска (онъ просто тогда служилъ въ какомъ-то банкѣ), ему приходилось склоняться предъ сердцемъ и дѣлами «иностранца» и говорить: «онъ возвратилъ въ трудовую массу троихъ человѣкъ, которые приготовлялись быть дармоѣдами». Въ этомъ признаніи была невольная дань уваженія передъ душевнымъ подвигомъ.

IV.

Очерки и разсказы.—Мелочи.

«Сборникъ очерковъ и разсказовъ» заключаетъ въ себѣ наиболѣе, можетъ быть, художественныя произве-

денія Успенскаго, т. е. наиболѣе объективныя. Но на нихъ-то мы и не станемъ особенно останавливаться. Вся вѣдь сила Успенскаго—въ задушевной, глубоко-человѣчной его субъективности. Къ тому же, какъ многіе изъ этихъ очерковъ и разсказовъ ни хороши, сколько ни обнаруживаютъ они замѣчательной наблюдательности, но вѣдь и отъ многихъ другихъ писателей мы можемъ заполучить такія же типическія подробности о забитомъ судьбою будочникѣ, умѣющемъ только тупоумно хватать за шиворотъ, и о тѣхъ семейныхъ сценахъ, въ которыхъ участвуетъ онъ волею судебъ: о человѣкѣ «спустя рукава», рѣшающемся то-то и то-то сдѣлать завтра и дѣлающемъ прямо противоположное или ровно ничего недѣлающемъ; о выжившемъ изъ ума обломкѣ крѣпостной поры, ловко обираемомъ простыми людьми, но еще ловче человѣкомъ «изъ благородныхъ» («Изъ біографіи искателя теплыхъ мѣстъ»); о современнаго покроя администраторѣ, для котораго накрытіе незаконной продажи питей обращается въ «прогулку», не лишенную пріятностей для души, особенно же для тѣла. Въ «Тяжкомъ обязательствѣ», на нашъ взглядъ, нѣсколько поверхностно рѣшается тема психологическаго характера: почти внезапная рѣшимость вдовы, связанной нелѣпымъ, конечно, завѣщаніемъ мужа, связать свою участь съ незнакомымъ человѣкомъ, которому она изъ состраданія согласилась оказать гостепріимство. Въ лѣтнихъ сценахъ «на постояломъ дворѣ» оставлена, кажется намъ, безъ достаточнаго освѣщенія, исторія семинариста, готоваго промѣнять свою науку на комедіантку, разлученнаго съ нею родными, а затѣмъ сходящагося съ нею уже послѣ того,

какъ какой-то умный папаша счелъ долгомъ заполучить ее для своего дурня-сынка, наставляя его: «ты теперь въ полномъ соку юноша; ты теперь долженъ стараться заслужить... у женскаго пола, это даже и по медицинѣ не грѣхъ въ твои года». Изъ «записокъ маленькаго человѣка» мы знакомимся, конечно, съ интереснымъ дѣломъ «очень маленькаго человѣка и очень большого животнаго»; не менѣе интересно и прозвище «читатель», данное кѣмъ-то автору записокъ и оказывающееся весьма подходящимъ къ нему, какъ и вообще къ тому сорту людей, который могъ бы повторить за нимъ: «наши идеи не составляли нашей жизни, иначе какъ бы могло случиться, что вокругъ насъ, въ теченіи столькихъ-то лѣтъ, не измѣнилось ничто ни на одинъ вершокъ, что какъ прежде становой охраняетъ мою собственность, а рабочій своими трудами даетъ мнѣ хлѣбъ». Самъ «читатель», описывая разныхъ своихъ знакомыхъ съ новыми мыслями, имъ-же имя легіонъ, озадаченъ однако-же наблюденіемъ, что «новыя мысли раздѣляются людьми, профессіи которыхъ, повидимому, и были учреждены собственно затѣмъ, чтобы мысли эти прекращать». Все болѣе и болѣе вглядываясь въ предметы своихъ наблюденій, «читатель» положительно не можетъ рѣшить, «чего больше въ этихъ людяхъ,—вѣры ли въ сундуки купчихъ Ломовыхъ, или въ женскіе вопросы». Все это—очень мѣтко и остроумно, но можетъ встрѣтиться болѣе или менѣе въ той же формѣ и у другихъ авторовъ.

То же можно замѣтить и про начало «Хорошей встрѣчи»—отрывка изъ путевыхъ замѣтокъ, гдѣ проводится параллель между разговорами пароходной публики 1-го

и 3-го классовъ. Публика перваго класса, по замѣчанію автора, «такъ или иначе, а найдетъ случай, не теряя своего первоклассного достоинства, обругать лакея, хозяина, потомъ вообще мужика, потомъ Россію, земство и т. д.... Но, переругавъ всѣхъ и вся, кромѣ себя, общество начинаетъ терять нить, связывающую его воедино въ продолженіе только-что изображенной бесѣды»... Не такова публика третьяго класса. «Здѣсь много труда, здоровья, искренности и стремленій къ товариществу,—но идеи, мысли... Каждая мысль, не смотря на то, что прямо, на собственныхъ плечахъ, вынесена изъ жизни, относитъ необразованнаго человѣка за четыреста, а то и за пятьсотъ лѣтъ назадъ, въ тьму временъ»... Вотъ такая-то вопіющая противоположность и заставляетъ автора записокъ спросить: «что-жь тѣ и другіе сдѣлаютъ безъ хорошаго «помпадура», безъ посторонняго двигателя, который прибиралъ бы къ рукамъ и эту чепуху, и эту апатію, и своими стараніями, понуканіями и предостереженіями придалъ бы мало-мальски человѣческій образъ и подобіе безформенной и невѣжественной толпѣ». Подъ конецъ авторъ однако-же теряетъ эту вѣру въ «помпадура», теряетъ подъ вліяніемъ той «хорошей встрѣчи», въ которой мы прямо опять узнаемъ Успенскаго съ особенностями его ума и воображенія. Встрѣча происходитъ на томъ же пароходѣ—съ 17-лѣтнимъ Васею, когда-то учившимся у автора записокъ въ народной школѣ, учившимся лучше другихъ, но все-таки бѣжавшимъ отъ бездны его скучной премудрости. Вася напоминаетъ ему о томъ, какъ онъ передъ святой пришелъ къ нему въ классъ и думалъ, что

онъ имъ, мальчикамъ, все это подробно растолкуетъ: «какъ Пилатъ, что̀ Іуда, и все до нитки»... «А вы, говоритъ онъ, замѣсто того свернули дѣло въ три слова— Іуда предалъ, Пилатъ молъ распялъ, а черезъ три дня Христосъ воскресъ; а потомъ сразу: гдѣ подлежащія, гдѣ глаголъ?» Но можно ли было и ждать какой-нибудь теплоты отъ этого «интеллигента», если для него, разумѣется, и свѣтлое воскресенье—такой же день, какъ другіе, развѣ отличающійся тѣмъ, что тутъ бываетъ ветчина да яица, но вѣдь и они, стоитъ только захотѣть, могутъ появиться на столѣ уже и на страстной недѣлѣ. Какъ бы то ни было, а Вася тутъ же вспоминаетъ про то, что̀ его заставило чего-то ждать отъ школы – онъ вспоминаетъ про мальчика Егорку. «Придетъ онъ и начнетъ разсказывать сказку или какую-нибудь исторію, — и такъ разсказываетъ, что мы всѣ замремъ, даже задохнемся отъ страха... Вотъ мнѣ и захотѣлось читать, вотъ я и поступилъ къ вамъ». Но въ разсказахъ Егорки была живая душа, а въ школѣ—одна мертвечина. Вася бѣжалъ изъ нея и попалъ въ другого рода школу—къ тому же Егоркѣ, «собравшемуся изъ деревни вонъ и пустившемуся въ похожденія». — «Пойдемъ въ Кривухино, надо наказать цѣловальника», подбивалъ Егорка. Пошли и сожгли у него ригу. («Цѣловальникъ дѣйствительно былъ человѣкъ самый безсовѣстный, съ мужиковъ снималъ послѣднюю рубаху»). «Отъ цѣловальника пошли въ другое мѣсто— къ мужику. Тамъ овчины выкрали всѣ дочиста, потому что и этому мужику, по Егоркинымъ рѣчамъ, тоже нужно было сдѣлать внушеніе... А потомъ, конечно, до-

стряпались до тюрьмы»... Между тѣмъ тотъ же, побывавшій въ Егоркиной школѣ, Вася говоритъ своему бывшему заправскому учителю: «Хочу дѣлать пользу... разумѣется, всѣмъ,» говоритъ съ такою «храброй увѣренностью и искренностью», какой давно не видалъ учитель. «Въ этой тюрьмѣ, въ этихъ темныхъ дѣлахъ, говорится далѣе, Вася какъ бы укрывался только отъ насилій надъ своею совѣстью и съ такою настойчивостью не измѣнялъ ей, что послѣ его разсказа можно было жалѣть объ общемъ строѣ жизни, въ которой надо искать темныхъ угловъ для того, чтобы не быть изуродованнымъ нравственно». Это на нашъ взглядъ не достаточно ясно. Не досказано и то, что̀ за человѣкъ былъ Акимъ Петровичъ, съ которымъ встрѣтился потомъ Вася, и который «съумѣлъ заставить его вѣрить въ иныя венци, мысли иныя». Но замѣчательною остается сущность разсказа — бездушіе законной школы, заставляющее искать хлѣба для души въ такой беззаконной допотопной школѣ, какъ Васинъ, отзывающійся сказкой, разбой— ради возстановленія на землѣ правды.

Настоящій Успенскій опять такъ и слышенъ и въ томъ небольшомъ разсказѣ, который называется «Съ конки на конку». На одной изъ нихъ происходитъ опять встрѣча—но уже иного рода, исключительно печальная. Съ двумя подгулявшими рабочими оказывается тутъ мальченка, на котораго жалуется одинъ изъ нихъ, отецъ ребенка: «Уцѣпится,—нѣтъ возможныхъ способовъ никакихъ! «Что̀ матка скажетъ»—такъ, кажется, клещами изъ пострѣленка не выдерешь». Бѣдная, а въ то же время и глупая мать очевидно поручаетъ ребенку не

отставать отъ отца — слѣдить за нимъ, а у отца своя философія: «вѣдь должонъ человѣкъ погулять, вѣдь и нашему брату надо развернуться». Кончается тѣмъ, что и мальчикъ, впившійся было въ отца, чтобъ его удержать, втащенъ въ тотъ же кабакъ и ублаготворенъ наливкой—сладенькимъ. «Дов-велъ!.. Ну пей, пей, пріучайся!» приговариваетъ отецъ: «Только гляди, чтобъ потомъ не пьянствовать, — Боже тебя избави.» Мужикъ при этомъ и плачетъ, и пьетъ вино. Тѣмъ и заканчивается разсказъ, съ корнемъ воротящій душу.

Богатая психологическая задача затронута въ очеркѣ «Норовилъ по совѣсти». Крестьянинъ, котораго отецъ, какъ быть водится, женилъ,—ради своихъ особыхъ понятій о спасеньи души, не хочетъ жить съ женою и доводитъ ее до того, что другомъ ея становится первый подвернувшійся ей — очень даже немолодой. «Ты душу спасай, да и своего не забывай,» внушаютъ мужу. Въ самомъ дѣлѣ — жена вѣдь «его добро»;—чисто головное «спасенье души» не мѣшаетъ ему постоять за подобную «собственность». Дѣло кончается тѣмъ, что его и не думаютъ лишить права ею пользоваться, но что онъ теперь раздѣляетъ это право съ другимъ и вмѣстѣ съ нимъ пьянствуетъ. Разсказывающій объ этомъ мужикъ судитъ о дѣлѣ опять по-своему, но столь же бездушно. «Взялъ бы топоръ, говоритъ онъ, да и пошабашилъ — либо ее, либо себя, либо его: по совѣсти тутъ невозможно въ такихъ дѣлахъ.» Потому-то, выходитъ по его мнѣнію, и спился человѣкъ, пропалъ, что и тутъ «норовилъ по совѣсти».

Заглавіе такого же покроя—«Умерла за направленіе»—

дано разсказу, отличающемуся однако другимъ характеромъ. Смерть тутъ выходитъ не за свое направленіе, а за чужое. Состряпанный интеллигентнымъ человѣкомъ проектъ по части охраненія народнаго здравія практически разрѣшается приказомъ: «не держать больныхъ, которые опасны, сейчасъ вонъ!» Подъ страхомъ такого приказа и выпроважена въ часть старуха, потому-то и умирающая безъ покаянія. Многорѣчивый разсказъ объ этомъ, утомляющій его слушателей, спѣшащихъ къ развязкѣ, ведется на дачѣ въ образованномъ обществѣ, между тѣмъ какъ тутъ же неподалеку, на травкѣ, отставной солдатъ по своему философствуетъ о Восточномъ вопросѣ: «будетъ, будетъ баловаться-то! Довольно вы людей-то, души Христіанскія, на борзыхъ собакъ мѣняли. Будетъ! Теперича Россія пошла на поправку, а вашего брата за это—вотъ какъ...» Солдатъ, очевидно, неисправимый идеалистъ, какъ и тѣ босоногіе, которые его слушаютъ... Но и тутъ опять — жизнь, увлеченье, а въ образованномъ кругѣ, спѣшащемъ поскорѣе къ развязкѣ, одно только праздное любопытство...

Въ приложеніи къ «Сборнику очерковъ и разсказовъ», вслѣдъ за «Письмами изъ Сербіи» (затронутыми нами въ предъидущей главѣ) помѣщены «Мелочи». Одна изъ этихъ «мелочей» (подъ заглавіемъ «Дворникъ») служитъ прекрасною поправкою къ стихотворенью Некрасова «Убогая и нарядная». Правда, *убогая* тутъ не одной профессіи съ *нарядною*. Она только изъ одной деревни съ «нарядной», квартиру которой и разыскиваетъ она, чтобы поступить къ ней въ кухарки (впрочемъ не предполагая найти въ ней землячку). Но дѣло-то въ томъ,

что къ ней, «нарядной», не смотря даже на ея злость, сказывается у Успенскаго то же самое состраданіе, которое видно у Некрасова только къ «убогой». Правда, нарядная тутъ—не такъ ужь *нарядна*, какъ была прежде, но все еще живетъ припѣваючи. «Завидуй, Марѳа, обращается Успенскій къ ея землячкѣ-кухаркѣ, этому почету (она пользуется почетомъ своего обожателя), мебели, теплу, но не завидуй сердцу г-жи Ивановой: оно одиноко и холодно, больше чѣмъ твое въ сотни разъ...» «Среди всей этой чистоты, мебели и драпировокъ оно живетъ измученное, до рабства трусливое (не смотря на почетъ, которому неминуемо суждено прекратиться), умѣющее только злиться и оскаливать зубы на судьбу, но не умѣющее уже плакать.» Кухарка по крайней мѣрѣ не лишена этого послѣдняго блага. Когда ей «представлялась сестра, которая бьется съ малыми ребятами въ деревнѣ Босоноговой и которую бьетъ мужъ, представлялись и свои сироты, разбросанные по воспитательнымъ домамъ и топкимъ кладбищамъ, и сама она, Марѳа-сирота,—тогда она плакала, заливалась: только въ слезахъ и рыданіяхъ была она свободна, только въ нихъ высказывалась вся ея неподкупная, неизмѣримая нравственная чистота!»

Къ «мелочамъ» отнесена и «*Обстановка*», подъ которою разумѣется посильный комфортъ чиновника, сперва «обзаведшагося разнымъ худосочіемъ», а потомъ женившагося и давшаго, разумѣется, существованіе дѣтямъ «съ кривыми ногами, съ золотухами, англійскими болѣзнями». Задолжавъ во всѣ стороны, супругъ не можетъ отказать въ какомъ нибудь новомъ шиньонѣ и

матеріи Bismark своей супругѣ и даетъ вечеринки, во время которыхъ больныя дѣти ссылаются на кухню. Вотъ они и не сироты — а *сироты*; о нихъ и поплакать-то не кому, и, умѣя вопить, сами они едва-ли когда научатся по-человѣчески плакать! Некому разшевелить въ нихъ душу!

V.

Изъ деревенскаго дневника.—Непорванныя связи.—Овца безъ стада.

Лѣто 1877 г., проведенное нашимъ авторомъ гдѣ-то въ деревнѣ въ Новгородской губерніи, дало ему поводъ издать свои извѣстные отрывки „*Изъ деревенскаго дневника*". Они представляются намъ во многомъ сродными и съ «Записками изъ Мертваго Дома» Достоевскаго, и съ Севастопольскими очерками Л. Н. Толстого. Съ первыми ихъ сближаетъ невыносимая тяжесть общаго впечатлѣнія, смягчаемая глубоко-человѣчнымъ чувствомъ автора; со вторыми—то, что у Успенскаго, какъ и у Толстого, былъ въ виду только тотъ неказистый герой, который называется *правдою*.

Не даромъ рабочіе въ своемъ письмѣ къ нашему автору замѣтили, что книжки его *справедливы*. Онъ не льститъ не только *барину*, но и *мужику*, положительно подвергавшемуся у насъ опасности попасть, въ свой чередъ, въ литературные герои. Но, высказывая свою горькую *правду* объ этомъ новомъ героѣ, т. е. все то, что онъ за нимъ замѣчалъ и что поневолѣ приходится о немъ думать, Успенскій, изъ того же чувства справед-

ливости, предостерегаетъ отъ какихъ-либо смѣлыхъ обобщеній. Онъ напоминаетъ, что наблюденія его производились только въ извѣстной мѣстности, и что полной вѣрности ихъ могла помѣшать «значительная личная отчужденность отъ деревни».

Само по себѣ жить въ деревнѣ — это значитъ, по мнѣнію автора, противодѣйствовать «испорченному разнообразіемъ вкусу». Но это значитъ также вызывать въ себѣ ту «капельку стыда», которая, къ нашей чести, у насъ еще имѣется, не давать заснуть нашей, «умѣющей прилаживаться къ обстоятельствамъ» совѣсти. Вѣдь съ одной стороны, живя въ деревнѣ, «убѣждаешься, что въ однообразныхъ равнинахъ Русской земли, въ однообразнѣйшихъ, все подводящихъ подъ одно, условіяхъ естественныхъ, нѣтъ возможности вытанцоваться, самостоятельно выдѣлиться изъ этого однообразія чему нибудь такому въ смыслѣ привилегированности, что́ бы хоть капельку равнялось въ прочности привилегированности стараго Европейскаго міра. Просторъ, т. е. въ буквальномъ смыслѣ обиліе мѣста для всѣхъ, и сознаніе этого простора, сознаніе того, что «всѣмъ хватитъ», не даютъ возможности развиваться въ должной мѣрѣ тому азарту эгоизма, которымъ долженъ былъ жить «благородный человѣкъ». При малѣйшей способности въ это вдуматься, баринъ «долженъ былъ чуять, что только казенное право ограждаетъ его привилегированное положеніе, удерживаетъ за нимъ его тысячи десятинъ, и что, безъ этого казеннаго огражденія, рѣшительно нѣтъ никакихъ резоновъ именно ему стоять выше послѣдняго мужика, такъ какъ и этотъ послѣдній мужикъ, никого

и ничего не стѣсняя, ни у кого ничего ровнешенько не отнимая, можетъ имѣть тѣ же самыя тысячи десятинъ. Именно у барина-то Русскаго никогда и не было внутренней причины быть жаднымъ, воевать за свое привилегированное положеніе, потому что у него и враговъ-то не было никогда никакихъ». Но вотъ тутъ-то, съ другой стороны, и не можетъ не сказываться, хотя бы только теперь, та «капелька стыда», которая заставляетъ сознаться, что, наперекоръ всей этой бьющей въ глаза правдѣ жизни, Русскій баринъ держался обѣими руками за свою «привилегированность», съ которою вовсе не соединялось для него представленіе, *que noblesse oblige,* *)—почему «въ назиданіе потомству даже отъ періода такъ называемыхъ «настоящихъ» баръ и не осталось ничего, кромѣ служенья ѣдѣ и блуду». Продолжая съ этой точки зрѣнія, противополагать наши порядки Западнымъ, Успенскій замѣчаетъ, что «у насъ ничего похожаго нѣтъ на ястребиный образъ жизни голоднаго, но жаднаго Европейскаго хищника, безжалостно рвавшаго куски изъ чужихъ рукъ и утаскивавшаго ихъ въ свои орлиныя гнѣзда. Это ястребъ, а нашъ баринъ—я и не знаю, что такое. Сидитъ и объѣдается, сѣчетъ, отъ скуки заводитъ тяжбу, бьетъ направо и налѣво и всѣмъ за это платитъ, «колобродитъ», въ веселыя минуты хоронитъ осетра, или опять таки деретъ станового, попа. Еще хуже баринъ Вольтеріанецъ, революціонеръ, собирающій оброки, продающій крестьянскія деревни на свозъ. Какому ястребу придетъ въ голову разсуждать о благѣ

*) Что благородство обязываетъ.

цыплятъ и въ то же время глотать ихъ... Или какой голубь будетъ пожирать своихъ птенцовъ, какъ пожиралъ ихъ голубь-революціонеръ—баринъ, торговавшій крестьянами? Все это таило въ себѣ неправду, все говорило о недостаткѣ внутренней сильной и резонной причины быть феодаломъ, бариномъ»...

Баринъ стараго покроя подвергся «разоренію» и сошелъ со сцены, оставивъ свой идеалъ для подражанія тому «новому барину» изъ кулаковъ, которому уступилъ онъ дорогу, и завидуя-то ему, и не безъ удовольствія напуская его на мужика. Одного изъ такихъ новыхъ «кабацкихъ» баръ и рисуетъ намъ тутъ же нашъ авторъ. Типъ этотъ, какъ онъ ни новъ, пожалуй уже и заѣзженъ нашими писателями, но Успенскій съумѣлъ подглядѣть въ немъ особенныя черты. Дойдя до запоя во всемъ и самымъ запоемъ, наконецъ, пресытившись, рисуемый имъ «великанъ», современный Куролесовъ изъ третьяго сословія (имѣемъ, благодареніе Богу! замѣчаетъ гдѣ-то Успенскій) услаждается лицезрѣніемъ той бѣдноты, которой и хотѣлось бы выпить, да не на что, а ужь никто не вѣритъ. Вотъ онъ, наконецъ, платитъ за такого бѣдняка и, «страстно любуясь той жадностью, съ которою пьяница несетъ водку къ губамъ, проливая и боясь пролить, и еще пристальнѣе наблюдая самую минуту питья и слѣдующее за нимъ ощущеніе необыкновенной радости,—на чужомъ примѣрѣ, на чувствѣ чужой жажды воскрешаетъ въ себѣ самомъ ощущеніе этой жажды.» Не всѣ изъ новыхъ баръ подобнымъ образомъ подражаютъ старымъ барамъ, но всѣ окончательно высасываютъ мужика, у котораго слышится одинъ

отчаянный кличъ — *денегъ, денегъ* — въ отвѣтъ на раздающійся надъ нимъ призывъ—*подати. подати*... Мужикъ, очертя голову, пускается въ поиски за заработкомъ, и-тамъ, гдѣ заработокъ мало-мальски хорошъ, тамъ, гдѣ онъ даетъ больше денегъ,—«пропадаетъ даже и охота жить земледѣльческимъ трудомъ, тянуть эту крестьянскую лямку, не дающую ни единой копѣйки денегъ, которыя именно и нужны». Тутъ ужь рады-радехоньки и такъ называемому «бабьему заработку», заключающемуся въ платѣ изъ воспитательнаго дома за дѣтей (трое которыхъ оказалось однажды въ мѣшкѣ у бабы, ѣхавшей по чугункѣ къ доктору за свидѣтельствомъ объ ихъ смерти, приключившейся отъ прокислаго молока).. Другого рода «бабій заработокъ» оказывается у той, которой ея смышленый мужъ наказываетъ быть «отмѣнно вѣжливою» съ господами, проживающими у нихъ лѣтомъ для съемокъ. Въ постоянныхъ поискахъ за деньгами, которыя такимъ образомъ добываются всѣми способами и которыхъ, однако-же, не хватаетъ, мужикъ сейчасъ же почти и пропиваетъ ихъ, придираясь къ малѣйшему случаю, и съ пьяна оказывается способнымъ придушить своего собственнаго ребенка, лежащаго въ той телѣгѣ, въ которую бросается онъ прямо изъ кабака вмѣстѣ со своимъ собутыльникомъ, и не помня уже, что ребенокъ остался въ этой же телѣгѣ. «Мальчишку зарыли — и вотъ изъ деревенской дѣвушки, изъ деревенской молодухи образовалась деревенская женщина — съ разбитой грудью, съ угнетеннымъ выраженіемъ лица и съ сознаніемъ, что нѣтъ на свѣтѣ ничего кромѣ муки мученской... А изъ парня и работя-

щаго отца вышелъ мужикъ, молчаливый въ полѣ, молчаливый дома, снимающій молча шапку передъ каждымъ тарантасомъ и издали сворачивающій съ дороги въ грязь, въ лужу отъ всякато встрѣчнаго: всякій встрѣчный лучше его, всякій имѣетъ право идти по дорогѣ; тогда какъ онъ—сѣрый мужикъ «суконное рыло».

Тутъ гибель ребенка происходитъ отъ родительской вины, представляющейся, правда, темному человѣку какою-то не вѣсть откуда стрясшеюся бѣдою? Но бываетъ и гибель иного рода—среди той же темноты въ иносказательномъ смыслѣ, вступающей во всѣ свои права въ тѣ непроглядно темные уже и въ буквальномъ смыслѣ Августовскіе вечера, которые такъ поразительно рисуетъ намъ авторъ. «Еще часъ, и тогда не добудиться, не достучаться, не докричаться... Въ такіе часы никто не слышитъ, какъ кричитъ и мучается неожиданно начавшимися родами женщина, не видитъ, какъ она въ горячечномъ состояніи слѣзла съ печки, съ лавки, пошла, сама не зная куда; никто не поможетъ ей, не образумитъ ея, и она, полупомѣшанная, стеная и вскрикивая, шатается гдѣ нибудь по грязному двору, не вѣдая какъ, попадаетъ въ хлѣвъ, не помня себя, родитъ ребенка, который иной разъ задыхается тутъ же въ грязи, иной разъ разшибаетъ голову о какое-нибудь бревно, иной разъ обращаетъ на себя вниманіе и аппетитъ какого нибудь животнаго».

И среди этой «темноты», заполоняющей сѣрый людъ, нигдѣ-то «во всемъ, что окружаетъ его, не видно ни тѣни вниманія, ни добраго слова». И когда-то еще придетъ въ эту глухую деревню «такой человѣкъ, ко-

торый рѣшился бы отдать ей свои знанія, стать, не смотря на эти знанія, въ общія условія бѣдности крестьянской жизни, рѣшился не «благодѣтельствовать», а существовать только на тѣ средства, которыя, безъ принужденій волостного начальства, а по силѣ, по мочи, дадутъ ему «за его трудъ» сами крестьяне»... *) Вотъ какого человѣка ждетъ для деревни Успенскій, не кидая однако камешка въ тотъ огородъ, изъ котораго раздается проповѣдь о спасительности крестьянскаго труда при подкрѣпленіи этой проповѣди и дѣломъ—прямо тѣмъ же крестьянскимъ трудомъ самого барина, раздается также и проповѣдь о вредѣ денегъ, тогда какъ частенько именно этими-то грѣшными деньгами, данными крестьянину въ одинъ изъ тѣхъ черныхъ дней, когда онъ рѣшается для добыванія ихъ на самыя неприглядныя средства, и можно бы было упрочить за крестьяниномъ его земледѣльческій трудъ, спасти его отъ необходимости бросать землю и отправляться за заработкомъ въ самый омутъ соблазновъ. Нашъ авторъ не требуетъ ничего особеннаго, зоветъ на настоящую помощь мужику не геніальнаго и богатаго, земледѣльчески настроеннаго барина, а бѣднаго и зауряднаго просвѣщеннаго человѣка. Горькимъ опытомъ жизни, при своей любящей, глубоко человѣчной душѣ, доводимый до пессимизма, Успенскій остается однако же въ душѣ и неисправимымъ оптимистомъ, говоря: «Когда нибудь такой человѣкъ непремѣнно придетъ въ деревню, теперь

*) Намъ пришлось однако же слышать отъ самыхъ достовѣрныхъ людей о такомъ интеллигентомъ дѣятелѣ въ Весьегонскомъ уѣздѣ.

же покуда его что-то не видно. Мѣсто его занимаетъ человѣкъ служащій, чужой, нанятой, какой случится, какой попался, и деревня живетъ безъ всякаго призора и безъ единаго добраго слова, если не считать священника, каждый грошъ дохода котораго видѣнъ крестьянину (а это много значитъ!), который, будучи понятенъ крестьянину, какъ человѣкъ, зарабатывающій свое пропитанье (не больше), хорошъ для него и тѣмъ трудомъ, который даетъ ему пропитанье».

Но этого мало. Не только на жажду свѣта въ *деревнѣ* не отзывается никто изъ *города*, но и самая эта жажда свѣта, едва сказавшись, скоро проходитъ при видѣ того, что̀ совершается въ городѣ. «Мѣряя свое незнаніе съ незнаніемъ имѣющихъ власть, свое невѣжество съ таковымъ же тѣхъ, кто можетъ приказывать, свои аппетиты съ аппетитами людей привилегированныхъ, онъ (т. е. мужикъ) не находитъ между собой и человѣкомъ, поставленнымъ выше, получающимъ больше, никакой разницы и невольно долженъ убивать въ себѣ зародившуюся мысль о цѣнѣ знанія и умѣнія и о необходимости ихъ въ человѣкѣ, не желающемъ быть паразитомъ, а во-вторыхъ объяснять все дѣло — какъ оно и есть на самомъ дѣлѣ — только тѣмъ, что вся суть въ средствахъ, и низшій невѣжа можетъ сдѣлаться высшимъ невѣжей, ничего отъ своего невѣжества не терять. Вся разгадка успѣха — «рука», «случай», «то, что хорошо подвернулось подъ руку».

Изъ скудной Новгородской губерніи авторъ насъ переноситъ въ Самарскую—эту «житницу Русской земли, родящую самъ-двадцать, а зачастую и больше». Только

и тутъ ожидаетъ насъ печальная встрѣча съ горемыкою деревенскимъ сторожемъ, котораго, по его наружному виду, авторъ прямо принялъ за нищаго, но который отвѣчалъ ему, что отъ этого еще Богъ помиловалъ. Оказывается, что бѣднякъ изъ такой деревни, въ которой, «съ самаго основанія новыхъ условій крестьянскаго быта, т. е. съ 19-го февраля 1861 г., нѣтъ и не было, а надо думать и не будетъ, *ни единой копейки недоимки*», и въ которой есть и ссудо-сберегательное товарищество, членами коего состоятъ хозяева всѣхъ 70 дворовъ. «Чего еще нужно для того, спрашиваетъ авторъ, чтобы человѣкъ, живущій здѣсь, былъ сытымъ, обутымъ, одѣтымъ и ужь во всякомъ случаѣ не нищимъ?» Но вотъ тутъ же, рядомъ съ домомъ крестьянина, у котораго накоплено 20,000 р. денегъ, живетъ старуха съ внучками, и у ней нечѣмъ топить, а изъ общинныхъ лѣсовъ, говоритъ она, «нашей сестрѣ не даютъ»; мужъ ея полгода лежитъ больной, «землю міръ взялъ—кто-жь за нее души-то платить будетъ?» Въ концѣ той же главы авторъ приводитъ другой вопіющій фактъ: «владѣлецъ большого имѣнія, прилегающаго къ крестьянскимъ землямъ, предлагаетъ сельскому обществу купить у него 600 десятинъ земли», въ составъ которыхъ входитъ и лѣсъ,— на самыхъ выгодныхъ, вовсе даже не денежныхъ условіяхъ,—съ разсрочкою на 25 лѣтъ,—а мірской приговоръ о такой покупкѣ все не можетъ состояться, потому что для такого дѣла нужно «выбрать» одного довѣреннаго человѣка,—«и вотъ такого-то человѣка и нѣтъ между 70 дворами!» «Всякій привыкъ думать, что человѣку нельзя

не соблюдать своей собственной выгоды, и что онъ, особливо поставленный въ нѣсколько иное положеніе, чѣмъ другіе покупщики имѣнія, съумѣетъ повернуть дѣло такъ, что только одному ему и будетъ лучше, а всѣмъ остальнымъ хуже.» И вотъ такое-то недовѣріе къ кому бы то ни было и тормозитъ все дѣло.

Дѣлая свои выводы на основаніи наблюденій, произведенныхъ въ Новгородской губерніи, авторъ объяснялъ себѣ многое ея природными неблагопріятными условіями. «Теперь же, говоритъ онъ, когда я вижу кругомъ себя благодать, обиліе и богатство, — я волей-неволей еще прочнѣй убѣждаюсь, что деревнѣ необходимы новые взгляды на вещи, необходимы новые, развитые, образованные дѣятели, для того, чтобы среди этого простора не было Лондонской тѣсноты»,—тѣсноты, связанной съ нравственною рознью, съ безпомощнымъ одиночествомъ... «При крѣпостномъ правѣ, фантазіи господина владѣльца, одинаково обязательныя для всѣхъ, сплачивали деревенскій народъ взаимнымъ сознаніемъ нравственныхъ несчастій... Теперь ужь никто не вломится въ семью, кромѣ начальства, которое приходитъ за солдатами; теперь всякій отвѣчай за себя, распоряжайся самъ, какъ знаешь, но связь «нравственнаго «гнета» не замѣнилась сознаніемъ необходимости общаго благополучія, общаго облегченія жизни, такъ какъ на мѣсто произвола не пришло ни знаніе, ни развитіе, ни даже доброе слово».

Но и этимъ даже не ограничивается тяжесть деревенскихъ впечатлѣній, которыя слагаются въ какое-то общее «адское душевное состояніе». Какъ не прійти къ

нему, если тутъ «оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины», напримѣръ *дважды два четыре*, взамѣнъ чего тутъ «даже не стеариновая свѣчка, а Богъ знаетъ что!» Но какъ ни тяжело все это, а нечего обращаться въ бѣгство. «Ваша обязанность, говоритъ авторъ, по крайней мѣрѣ такъ говоритъ вамъ ваша совѣсть, требуетъ, чтобы вы сдѣлали извѣстною здѣсь, въ деревнѣ, не фантастическую, а *настоящую* таблицу умноженія».

О томъ, что̀ такое не настоящая, а теперешняя деревенская таблица, авторъ даетъ намъ знать, сопоставляя положеніе трехъ деревень, изъ которыхъ одна поставлена, повидимому, въ исключительныя и самыя выгодныя экономическія условія, другая — въ условія также весьма благопріятныя, а третья, находящаяся тутъ же подъ бокомъ, есть только «обыкновенная Русская бывшая крѣпостная деревня: у нея мало земли, она платитъ большіе налоги» *). Но что же оказывается? «Хуже и глупѣе изъ всѣхъ трехъ деревень живетъ самая богатая»... «Она и не вздумала до сихъ поръ завести, хотя въ виду воинской повинности, хоть какую нибудь школу, а въ Сибирь ссылать своихъ сыновей выучилась». Между тѣмъ, «какъ ни покажется страннымъ, а лучше всѣхъ живетъ и всѣхъ умнѣе глядитъ» именно крестьянинъ самой бѣдной изъ трехъ деревень... До послѣдняго времени тутъ не заводили кабака... раздѣловъ семейныхъ мало. «Словомъ, заключаетъ авторъ, крестьянинъ, болѣе другихъ потерпѣвшій на своемъ вѣку, слѣдовательно,

*) Первая же изъ этихъ деревень никогда не была въ крѣпостномъ состояніи, вторая—только временно.

какъ намъ думается, болѣе угнетенный, надѣленный плохой землей, обремененный налогами, вопреки всѣмъ смысламъ, вопреки всѣмъ таблицамъ умноженія всѣхъ частей свѣта, оказывается порядочнѣе, положительно умнѣе, даровитѣе, честнѣе и зажиточнѣе того крестьянина, который, имѣя доходы, покрывающіе всѣ посторонніе платежи, или платя сущую бездѣлицу... ничего не выдумалъ, кромѣ кабака, живетъ бѣдно, пьяно, фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ къ міру, къ себѣ, къ семьѣ».

Значитъ ли это, однако, что крѣпостное право, при всѣхъ своихъ мерзостяхъ, было съ другой стороны и своего рода благодѣяніемъ, слѣдъ котораго остается мѣстами и по сію пору? Разумѣется, нѣтъ. Крѣпостное право могло пріучать мужика къ труду и добропорядочности изъ-подъ палки, и онъ можетъ сохранять ту-же привычку тамъ, гдѣ та же палка является и теперь въ видѣ малоземелія и обилія податей. Но палка никоимъ образомъ не можетъ быть отнесена къ числу такихъ предметовъ, которые должны быть сохраняемы навсегда. Палка, чтобы водворилась вполнѣ человѣческая жизнь, должна же быть замѣнена собственною твердою волею, умѣніемъ при помощи именно ея расширять и расширять собственное и чужое благосостояніе, какъ экономическое, такъ и духовное. Но крѣпостное право именно и отшибало у человѣка способность жить безъ палки, ходить безъ палки, стоять на своихъ ногахъ; не только та старуха, о которой разсказывается у Успенскаго въ одномъ изъ очерковъ «Столичной Бѣдноты», но и вообще бывшіе крѣпостные оказались при освобож-

деніи «несчастными незнаніемъ жизни». Обезсиливающему вліянію крѣпостного права только слабо противодѣйствовала и самая, сохранившаяся при немъ, крестьянская община, не дающая уже теперь, какъ показываетъ нашъ авторъ, всего того, чего можно отъ нея ожидать, не дающая именно потому, что ея нравственная сила надорвана. Все въ ней сведено на одну разверстку, а затѣмъ оказывается еще сводимымъ, какъ обстоятельно указываетъ авторъ, и на своеобразное приведенье въ систему праздничнаго пьянства. «Своихъ, деревенскихъ предметовъ для разговоровъ на сходкахъ нѣтъ,—отучены... Сколько въ деревнѣ нищихъ, убогихъ, сиротъ и т. д. Обо всемъ этомъ должна бы заботиться неугнетенная чужой заботой мысль, но она не заботится, потому что не знаетъ, что надо заботиться.»

Такимъ образомъ, автору и приходится спрашивать: «почему же для деревни нужна только земля, частые или рѣдкіе передѣлы, почему нужно только увеличеніе надѣловъ, выгоновъ—и вовсе не нужно идей, которыя бы освѣжили этотъ ссыхающійся деревенскій умъ?.. Вообще почему бѣдствіе только налоги и недоимки? И почему не бѣдствіе и не предметъ вниманія то удивительное обстоятельство, что «невнимающая и недающая отвѣта» народная масса поминутно выдѣляетъ изъ себя такую массу хищниковъ, кулаковъ, міроѣдовъ, возводящихъ (какъ, напримѣръ, конокрады) разграбленіе своего брата крестьянина до степени промышленности... тогда какъ дѣйствительная торговля льномъ, шерстью, которую именно въ деревнѣ-то и можно бы, и должно бы довести до степени доходной статьи, не находитъ по-

чему-то въ крестьянской средѣ хорошаго организатора? Почему все это должно быть такъ, какъ есть, а не иначе?»

Надо всѣмъ этимъ, разумѣется, давно бы пора задуматься, особенно же надъ тѣмъ, почему ото всей этой массы хищниковъ и міроѣдовъ не можетъ служить охраною и сама народная община. Если эти міроѣды и кулаки — своего рода злостные протестанты противъ общиннаго начала, то почему же не раздается надъ ними анаѳема общины?

«Адское состояніе», въ какомъ ощущаетъ себя въ деревнѣ всякій человѣкъ съ душой, представляется почти безвыходнымъ именно оттого, что и этотъ нашъ твердый устой, называемый общиной, въ сущности не мѣшаетъ у насъ возникновенію чего-то похожагона рабочій вопросъ, какъ съ другой стороны нашъ широкій просторъ и избытокъ у насъ земли не спасаютъ отъ тѣсноты, отъ кидающейся въ глаза, совсѣмъ ужь при этомъ нелѣпой, противоположности нищеты и богатства. А вѣдь именно самые-то *душевные* между нами люди и думали, вмѣстѣ съ «Балашовскимъ бариномъ» у Успенскаго, что существуетъ же характерная и притомъ столь сочувственная черта нашей національности: «мы—люди всеобщаго права жить, думать и развиваться, не имѣя никакой надобности рвать другъ отъ друга кусокъ, такъ какъ всѣмъ хватитъ»... Но вѣдь тѣ же самые люди воображали, что нашлась у насъ и національно-міровая идея: «мы за всѣхъ мужиковъ всего свѣта, за ихъ право жить, пользоваться всѣмъ, что́ выдумалъ хорошаго бѣлый свѣтъ». И при такомъ-то широкомъ размахѣ мысли такія, чуть-ли не на каждомъ шагу, напоминанія трез-

вой дѣйствительности: «полно, братъ, не дури!» Такъ чему же было такъ удивляться и чѣмъ оскорбляться въ тѣхъ горькихъ сомнѣніяхъ въ насъ и во всемъ нашемъ, какими переполнена статья В. С. Соловьева о книгѣ Данилевскаго *). Мы усмотрѣли въ этой статьѣ чуть-ли не своего рода «преступленіе противъ величества» — противъ родной земли; но не мы ли же сами, не мы ли всѣ, въ большей или меньшей степени, своимъ бездушнымъ своекорыстіемъ, своею гражданскою лѣнью и дряблостью составляли упорный и нескончаемый заговоръ противъ того же «величества» земли Русской!

Но не останавливающійся ни передъ какою трезвою правдой Успенскій, къ счастію, могъ, однакоже, выставить намъ и нѣсколько свѣтлыхъ лучей—въ видѣ живыхъ образовъ, взятыхъ изъ той же народной жизни. Вотъ передъ нами слишкомъ только рано умершій (всего лишь 24 лѣтъ — т. е. въ возрастѣ Скопина-Шуйскаго) староста Иванъ Васильевъ—прямой стоятель и оберегатель родного міра Онъ «ни за что не пускалъ въ деревню кабака, а когда міръ все-таки отдалъ-было право на торговлю какому-то солдату, взявъ съ него за это 50 руб., то Иванъ Васильевъ самъ отдалъ эти деньги назадъ изъ своего кармана и устыдилъ этимъ міръ... А вотъ рядъ избъ новенькихъ... Это онъ надоумилъ купить сообща цѣлый плотъ лѣса на Волгѣ, и вышло дешевле, лучше и прочнѣе... А вонъ на горѣ лѣсокъ— тоже Иванъ Васильевъ постарался... Сколько нужно сдержанности при такомъ горячемъ характерѣ, какой

*) Статья, однако же, неосновательная въ своей тенденціи, указывающей спасеніе тамъ, гдѣ его нѣтъ.

былъ у Ивана Васильева, чтобы не испугать мірянъ новизной идеи, чтобы не возбудить подозрительности слишкомъ жаркой защитой ея у столбовъ сельской сходки, ветхихъ деньми и напуганныхъ крѣпостными порядками старичковъ»... Правда, не всегда и Иванъ Васильевъ умѣлъ сдерживать свое сердце ретивое. Разсвирѣпѣлъ же и онъ, при видѣ тѣхъ конокрадовъ, на которыхъ напустились уже крестьянскіе сторожа, и, засучивъ рукава, кликнулъ ужасающій кличъ: «ребята, своимъ судомъ грабителей!» Разсвирѣпѣлъ онъ за то же мірское добро, но изъ-за этого-то добра взялъ и на свою душу грѣхъ убійства—причемъ жертвою оказался и молодой Ѳедька, котораго, не призрѣвъ его нравственно въ его сиротствѣ, выростилъ, и ему и себѣ на горе, тотъ же крестьянскій міръ, Ѳедька, надъ избитымъ трупомъ котораго кто-то изъ мужиковъ, вспомнивъ его предсмертную просьбу: «медку бы», проговорилъ задумчиво: «видно, пожилось не больно сладко».

Тотъ же Иванъ Васильевъ, ободряя крестьянъ, повѣсившихъ головы передъ жертвами своего самосуда, сказалъ: «ничего не будетъ», и сказалъ правду, такъ какъ судъ дѣйствительно всѣхъ оправдалъ; но едва-ли не обманулъ Васильевъ и самого себя, если подумалъ, что и тамъ, въ своей собственной совѣсти, тоже «ничего не будетъ». А все-таки передъ этимъ твердымъ столпомъ родной деревни читатель, какъ и авторъ, останавливается съ сочувственнымъ изумленіемъ, спрашивая: «какъ и откуда выходятъ такія личности?» Но авторъ думаетъ отвѣтить на это словами: «такъ просто уродился человѣкъ съ отзывчивымъ, горячимъ сердцемъ,

свѣтлымъ умомъ, родился во тьмѣ и въ глуши и пошелъ, руководимый искрою Божіей».

Ну, а откуда же взялся этотъ древній старикъ, самъ сознающійся въ своемъ безсердечіи, взявшій на душу немало тяжкихъ грѣховъ, приносящій скопленныя деньжонки въ крестьянскую «банку», чтобы она сберегла ихъ для его внука, но нехотящій и слышать о какихъ-нибудь процентахъ. «Росту мнѣ не надо», «Господь не велитъ брать чужого» — настоятельно повторяетъ онъ, да съ тѣмъ и уходитъ, и только потомъ ужь, сдаваясь передъ увѣщаніями земляковъ, скрѣпя сердце, перерѣшаетъ: «пущай мой внучекъ получаетъ и съ ростомъ. Принимаю грѣхъ на себя, потому Господь видитъ, времена подходятъ точно гонимыя... лютыя». Это опять даетъ автору поводъ спросить: «почему именно деревенскіе грядущіе годы несутъ въ себѣ необходимость примиренія съ тѣмъ, что̀ даже сейчасъ еще считалось грѣхомъ»,—считалось грѣхомъ, прибавимъ мы отъ себя, съ самаго начала у насъ Христіанства и изъ вѣка въ вѣкъ обличалось упорною пастырскою проповѣдью?

Но мы особенно тутъ налегаемъ на вопросъ: откуда же и въ этомъ заскорузломъ старикѣ, когда-то лихомъ самодурѣ, чуть не злодѣѣ родной семьи, это такъ долго ни передъ чѣмъ несдававшееся: Господь не велитъ брать чужого»,—другими же словами: Господь не велитъ брать того, что̀ просто свалилось, а не заработано?

А откуда этотъ крестьянинъ, берущійся отвезти причетническую жену съ сынкомъ всего за десять, присланныхъ имъ отцомъ, рублей, отвезти Богъ вѣсть въ

какую даль, и такимъ образомъ останавливающій ихъ отъ кражи? «Онъ самъ зналъ нужду и сразу понялъ, зачѣмъ пономариха съ сыномъ толкутся за амбарами,» поясняетъ авторъ, присовокупляя, что у мальца, причетническаго сына, осталось навѣки посѣяннымъ въ сердцѣ «впечатлѣніе красоты души этого заскорузлаго, грубаго, безжалостнаго крестьянина». И вотъ изъ такого-то посѣва рождается въ самомъ мальцѣ, обучившемся уму-разуму, твердая рѣшимость посвятить свою жизнь на вѣрную службу тому же заскорузлому мужику, и служитъ онъ ее вѣрой и правдой, не смотря ни на какія препятствія со стороны того же темнаго и грубаго мужика.

Не въ правѣ ли мы послѣ всего этого сдѣлать изъ того же убійственно печальнаго «деревенскаго дневника» и утѣшительный выводъ, что, не смотря на всю заскорузлость и темноту, «человѣкъ тутъ остался живъ, и душа его жива». Не значитъ ли это, что *крестьянская душа* не такъ уже *одинока*, какъ оно представлялось автору, а что стало быть и *горе деревни* не такъ ужь безвыходно? Но, если такъ, то не приходится ли признать, что, не смотря ни на крѣпостные порядки, ни на всякую бюрократическую опеку со всѣми, вытекающими изъ нея, вторженьями-искаженьями, и крестьянская община въ ея нравственномъ смыслѣ не совсѣмъ же заглоха, не совсѣмъ же выдохлась? Ну, а мы-то, стоящіе въ сторонѣ отъ нея, и то теоретически обрекающіе ее на смерть, то теоретически ее защищающіе, но тутъ же и безнадежно оплакивающіе ее, хотя и пальцемъ не шевелящіе для ея оживленія, — мы-то

сами въ состояніи ли, заглянувъ къ себѣ въ душу, сказать: «живъ, живъ курилка!»

Въ томъ же «Деревенскомъ Дневникѣ», который приводитъ къ подобнымъ мыслямъ, есть у Успенскаго и особый перлъ—художественно-психологическаго характера. Мы разумѣемъ «*темный деревенскій случай*» (глава V), прямо напоминающій глубину психологическихъ очерковъ Достоевскаго. Можно бы создать цѣлый своеобразный романъ изъ душевной исторіи этого молодца, женившагося по любви, схоронившаго своего ребенка и затѣмъ наведеннаго бесѣдой съ аптекаремъ на мысль о томъ, что это—отъ деревенской «темноты», отъ того, что давать-то жизнь мы даемъ, а сохранять ее не умѣемъ, мысль, отбивающую у него охоту снова имѣть дѣтей и постепенно доводящую его до ненависти къ любимой женѣ, иначе глядящей на дѣло и кончающей, вслѣдствіе такого разлада въ жизни, безвыходнымъ помѣшательствомъ.

Въ трехъ очеркахъ, соединенныхъ общимъ заглавіемъ: «*Непорванныя связи*», первый—«*Лядины*» рисуетъ намъ (что̀ рѣдко встрѣчается у Успенскаго) яркую картину природы на сѣверѣ; второй—«*Чудакъ-баринъ*» нѣсколько напоминаетъ намъ у Л. Н. Толстого «Записки молодого помѣщика» (кн. Неклюдова). Тутъ то-же крушенье барской доброй воли передъ упорнымъ недовѣріемъ и заскорузлою «неблагодарностью» и плутоватостью мужика, привыкшаго подъ словами: «баринъ добёръ» понимать: «глупенекъ сердечный», а затѣмъ и пользоваться такою «глупостью». Но положеніе «чудака-барина» оказывается у Успенскаго тѣмъ болѣе критическимъ, что онъ прі-

ѣзжаетъ въ деревню, разсчитывая встрѣтить въ каждомъ полушубкѣ *всѣ* 26 томовъ исторіи Соловьева» и не понимая, что если въ извѣстномъ смыслѣ они и дѣйствительно всѣ въ немъ сидятъ, то мужикъ и не можетъ не оказываться именно *такимъ*, каковъ онъ есть. Вотъ оно и выходитъ, что «по мѣрѣ того, какъ въ Михаилѣ Михайловичѣ сталъ проступать ужь *неприкрашенный баринъ*, и въ крестьянинѣ (который только-что вышелъ тогда изъ крѣпости) сталъ на встрѣчу барину выступать *неприкрашенный рабъ*». Но Михаилъ Михайловичъ наконецъ догадывается, въ чемъ дѣло. «Мы съ вами, ребята, одного поля ягода, говоритъ онъ; много въ васъ и въ насъ разныхъ блохъ крѣпостныхъ сидитъ.» Въ третьемъ очеркѣ—«*Подгородный мужикъ*» выставленъ, во-первыхъ, «солдатъ, распродавшій курицу, яйца, дѣвчонку, мальчишку и себя, и сожалѣвшій о томъ, что старуха, по случаю болѣзни, не идетъ въ дѣло, но при этомъ какъ-то покойно счастливый, чувствовавшій полную внутреннюю гармонію». Это невольно заставляетъ автора замѣтить: «кто не встрѣчалъ на Петербургскихъ улицахъ, около Гостинаго двора, здоровеннѣйшихъ мужиковъ, ростомъ аршина по три, которые слоняются съ кружевами, съ красными шарами на веревкѣ и даже съ букетами цвѣтовъ...» «Эти дылды, продолжаетъ авторъ,—наши деревенскіе, и конечно именно имъ и слѣдовало бы воевать съ быкомъ»,—а между тѣмъ къ стаду приставлена дѣвочка, «проданная» отцомъ-солдатомъ за куль муки, тогда какъ для нея «самымъ подходящимъ дѣломъ было бы сидѣть дома, рости, учиться

и много-много отогнать хворостиной свинью, сующую свое рыло, куда не слѣдуетъ.»

Далѣе въ томъ же очеркѣ передается разсказъ о 130-лѣтнемъ старикѣ, будто бы выгнанномъ изъ дому роднымъ сыномъ. Но то же въ значительно иномъ свѣтѣ выставляется автору другимъ старикомъ, говорящимъ про того: «пустой старичишко — одна только отъ него въ дому свара была». Онъ противопоставляетъ ему самого себя, говоря: «я вотъ тремъ сынамъ выстроилъ по дому, всѣхъ пообзавелъ, на старшаго сына три тыщи истратилъ, купилъ за него охотника въ солдаты, онъ долженъ помнить! А и я тоже не мѣшай...» Авторъ съ любовью останавливается на этомъ старикѣ, можетъ быть, и слишкомъ уже ступшевывающемся передъ сыномъ, едва ли съ своей стороны заслуживающимъ сочувствія. Слушая простую рѣчь старика, Г. И. Успенскій невольно раздумывалъ о томъ, «не въ этомъ ли трезвомъ и сознательномъ самопожертвованіи нужно искать наилучшихъ сторонъ народной души?..» «Живи безъ всякаго участія, знай, что его не откуда взять, понимай это и не ропщи.»

Особый разсказъ дается намъ въ той же книжкѣ подъ заглавіемъ «*Овца безъ стада*». Такою оказывается тутъ тотъ «Балашовскій баринъ», котораго одинъ отечественный юнецъ, встрѣченный имъ за границею, навелъ на мысль, что мужикъ совсѣмъ не жалокъ, а скорѣе намъ всѣмъ образецъ. «*Все самъ*, говорилъ юнецъ (отчасти напоминая Л. Н. Толстого),— этого довольно, чтобы представить себѣ, что въ мужицкой крестьянской избѣ сходятся въ каждомъ изъ обитателей

этой семьи тысячи всевозможныхъ спеціальностей, что въ ней царитъ постоянная умственная дѣятельность.» Развивая далѣе ту же мысль, Балашовскому барину все болѣе и болѣе хотѣлось примкнуть къ народу—тѣмъ болѣе, что какіе же, собственно говоря, у насъ баре, откуда бы имъ взяться при особенности нашихъ природныхъ и другихъ условій? Такому настроенію сильно содѣйствовало и то, что онъ, по его же выраженію, «началъ жить въ самую совѣстливую эпоху нашей жизни—послѣ освобожденія крестьянъ». Сознавъ себя какою-то «овцою безъ стада», онъ прямо пошелъ къ мужику—но, послѣ выработавшагося у него идеальнаго представленія о мужикѣ, его такъ и отшатнуло отъ дѣйствительнаго, подлиннаго мужика, способнаго приговаривать къ розгамъ своего же брата, даже оказавшаго не одну услугу міру. Балашовскій баринъ такъ и коститъ за все такое крестьянъ, отчасти смущаемыхъ прямотою и мѣткостью его слова, но все-таки продолжающихъ видѣть въ немъ «барина». Онъ однако не унываетъ, проживаясь въ прямомъ и въ иносказательномъ смыслѣ, но при всемъ томъ говоря: «Стану продавать платье, проживу и то, и въ концѣ-концовъ все-таки я думаю, что доведу же я себя до того, что повѣрятъ они мнѣ и понадоблюсь я имъ въ чемъ-нибудь». На повѣрку оказывается однако, что онъ, вслѣдъ за тѣмъ, все-таки взялъ да уѣхалъ, причемъ будто бы замѣшалась какая-то дама. Не та, такъ другая, и не именно *дама*, а и просто такъ что нибудь вѣдь и частенько не даетъ намъ устоять въ самыхъ, повидимому, задушевныхъ нашихъ рѣшеніяхъ. .

VI.

Малыя ребята.—Очерки, разсказы, письма.—Богъ грѣхамъ терпитъ.—Волей неволей.

«*Малые ребята*»—подъ такимъ заглавіемъ собрано нѣсколько очерковъ, связанныхъ все съ тѣмъ же, иносказательно понимаемымъ, «разореньемъ», такъ давно и такъ упорно занимающимъ нашего автора. Забота о «малыхъ ребятахъ», о томъ, какъ ихъ направлять, стала особенно важною заботою послѣ «разоренья». «Было время, говоритъ Успенскій, когда центромъ и идеаломъ жизни былъ баринъ, а нравственность заключалась въ крѣпостномъ правѣ. Все, что̀ не было ни бариномъ, не нуждавшимся въ нравственности по праву, ни мужикомъ, не разработавшимъ этого тонкаго предмета *по недосугу*, все, что̀ жило вокругъ барина и мужика, также не разрабатывало означенныхъ вопросовъ — по ненадобности. Чиновникъ, говорилось въ то блаженное время, служи, купецъ—торгуй, шатунъ — шатайся. Вопросъ—какъ? и другой — зачѣмъ? не могли стоять въ общественномъ вниманіи на первомъ планѣ, въ виду того, что «выслужившись», «расторговавшись», человѣкъ могъ отдохнуть, только самъ сдѣлавшись бариномъ», т. е., какъ сказано выше, существомъ, ненуждающимся въ нравственности, въ какихъ-либо, *общихъ для всѣхъ*, руководящихъ началахъ. Правда, и послѣ отмѣны крѣпостного права «всякому по-прежнему предоставлялось право расторговываться и выслуживаться, но отсутствіе идеала заставляло задуматься надъ вопросомъ: зачѣмъ? И за этимъ вопросомъ самъ собою пришелъ другой — какъ? какимъ путемъ?» Вотъ тутъ ужь «волей-неволей пришлось знакомиться съ нравственностью».

Положеніе не было бы еще столь затруднительнымъ, «всѣ эти представители новыхъ временъ, конечно, немедленно бы опредѣлили свою собственную задачу... если бы самое новое и самое главное дѣйствующее лицо, открывшее новую эру жизни, вымолвило бы хоть единое словечко въ объясненіе того, чего молъ желаетъ оно теперь достигать... А главное дѣйствующее лицо упорно молчало». Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ другими, въ затруднительномъ положеніи оказался и Иванъ Ивановичъ Полумраковъ, «занимающій довольно видное мѣсто въ одномъ изъ Петербургскихъ министерствъ». Это—одно изъ тѣхъ типическихъ лицъ Успенскаго, которыя такъ мастерски задуманы и набросаны, но остались, къ сожалѣнью, недорисованными съ внезапнымъ обрывомъ и самаго сказанья о нихъ. Г. Полумраковъ окончательно сбился съ толку, когда въ одинъ прекрасный день стали освѣдомляться у него объ акушеркѣ N, знакомство съ которой вовсе не представлялось ему несовмѣстнымъ съ безпорочною службою. Либеральный Иванъ Ивановичъ сталъ вывертываться. Но хорошо ли онъ дѣлалъ, когда представлялся самой г-жѣ N «сочувствующимъ»? Трудно было отвѣтить, такъ какъ у Ивана Ивановича не было никакихъ убѣжденій, никакихъ руководящихъ началъ нравственности. Былъ только «страхъ передъ акушеркой, передъ начальствомъ и, главное, передъ окладомъ». Чувствуя это, Иванъ Ивановичъ, какъ отецъ семейства, чувствовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что «себя, свою дѣятельность, онъ ни коимъ образомъ не могъ бы рекомендовать дѣтямъ; это значило бы рекомендовать искусство лгать изъ-за оклада...» Та-

кимъ-то образомъ онъ «съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе убѣждался въ томъ, что нравственность необходима по крайней мѣрѣ для того, чтобы внушить ее дѣтямъ...» Но «гдѣ же добыть эту нравственность»? Ея, разумѣется, «не давали ни пилы, ни дратвы, ни станки, ни дѣтскіе сады» и всякія другія тогдашнія заведенныя имъ у себя въ домѣ педагогическія моды, не давали и статьи по закону Божію въ педагогическихъ журналахъ, статьи, въ которыхъ въ сущности все сводилось по-старому къ тому, что «существуетъ дьяволъ и дѣлаетъ людямъ вредъ». И вотъ Иванъ Ивановичъ наконецъ надумался—такъ какъ народъ въ то время офиціально все же не былъ еще снова «не въ авантажѣ»—позаимствоваться нравственностью у мужика. Да, «поимствоваться и утащить въ домъ свой». Но Ивану Ивановичу было не въ домекъ, что такъ не давно еще освобожденный мужикъ въ былое, столь долгое время, не могъ разработать вопросовъ нравственности, какъ выразился нашъ авторъ, *по недосугу*. Какъ бы то ни было, съ наступленьемъ весны, Полумраковъ пріискалъ своей семьѣ, вмѣсто дачи, помѣщеніе въ настоящей деревнѣ. Тутъ ожидала его, однако же, какъ и «чудака барина», полнѣйшая неудача, зависѣвшая отъ того, что онъ ни коимъ образомъ не могъ добиться отъ народа мало-мальски искреннихъ человѣческихъ отношеній, такихъ, при которыхъ, съ одной стороны, Иванъ Ивановичъ могъ бы открыть свою душу и чистосердечно сказать: «бери!», а съ другой и народъ деревенскій, распахнувъ свое нутро, также бы радушно сказалъ Ивану Ивановичу: «получай, баринъ, тепло-то».

Вышло такъ, что мужики стали драть съ него елико возможно; дѣти же его заполучили отъ деревенскихъ дѣтей знакомство съ не совсѣмъ подходящими играми (въ которыхъ они разыгрывали большихъ), всю, такъ сказать, подноготную чорта и, наконецъ, довольно подозрительнаго свойства сыпь. Дѣло въ томъ, что деревня оказалось совсѣмъ не такою «богачкою, съ кототорой можно было бы взять въ нравственномъ смыслѣ «взятку». Желая вразумить г. Полумракова, пріятель его, сообщающій публикѣ его похожденія, и писалъ ему: «не все заимствовать у народа и прятать въ домѣ своемъ, надо и для него поработать; если ужь нельзя этого сдѣлать по совѣсти, то хотя изъ разсчета». Вѣдь худо, если изъ малыхъ деревенскихъ ребятъ, за которыми также не оказывается этой искомой нравственности, выработается поколѣніе, неспособное, «выйдя на вольный свѣтъ изъ-подъ крѣпостного ига, повести жизнь дальше, скрѣплять общинный обиходъ, развивая широту общинныхъ надобностей и интересовъ... а станетъ жить по худому, не расширяя, а съуживая мірской интересъ»... Вѣдь изъ этого новаго поколѣнія можетъ выйти «довольно почтенная цыфра безграмотныхъ и отъѣвшихся людей, которые, покинувъ деревню, естественно поступаютъ въ то общество, въ которомъ и я, и вы имѣемъ честь жить. Купивъ себѣ на Апраксиномъ рынкѣ «пальты» съ бобровыми воротниками и побывавъ въ Фоли-Бержерѣ, они ужь очевидно на стезѣ попасть въ интеллигенцію... пріобрѣтя наконецъ и енотовыя шубы и записавшись членомъ въ клубъ... Къ тому времени, какъ подростутъ ваши дѣти, это непремѣнно

должно совершиться. И какова тогда роль вашихъ, столь лелѣемыхъ дѣтей? Разумѣется, они должны будутъ, если пожелаютъ ѣсть хлѣбъ (а они этого пожелаютъ), *работать на этихъ переодѣтыхъ въ енотки деревенскихъ выбросковъ*... Такова вѣроятная будущность человѣка образованнаго безъ вниманія къ народному дѣлу, въ томъ случаѣ, если народъ начнетъ жить не по хорошему»... Тутъ, конечно, не придется ужь злорадствовать тому, что крестьянская масса бѣдна; тутъ уже жутко придется не ей одной, но и всѣмъ—отъ этихъ, выдѣлившихся изъ нея, новыхъ баръ!

Авторъ затѣмъ обстоятельно показываетъ намъ тутъ, какъ образуются эти міроѣды — будущіе всероссійскіе хищники. Они одарены всею *деревенскою опытностью*, при своего рода геніальности, затыкающей за поясъ прежнихъ пріобрѣтателей въ родѣ Чичикова. Эту опытность направляютъ они противъ прежней барской повадки, сохранившейся и послѣ барскаго разоренья, какъ направляютъ ее и противъ своей же деревенской мірской безтолочи и мірской розни, столь, повидимому, несовмѣстной съ идеею *міра* и однако же существующей несомнѣнно—словомъ, направляютъ ее и противъ мужика, развращеннаго въ самыхъ надежныхъ его устояхъ бариномъ, и противъ самого несообразительнаго барина, и являютъ изъ себя никому, кромѣ ихъ самихъ, нежеланный типъ *буржуа* — наше третье сословіе («имѣется!» не даромъ сказалъ нашъ авторъ).

Каковы въ настоящее время деревенскіе «малые ребята», это авторъ старается намъ показать на образчикахъ сочиненій, подаваемыхъ сельскому учителю, и

вызывающихъ у него замѣчаніе: «какая безпрекословная, такъ сказать, покорность факту»—въ смыслѣ голаго реализма, окончательной безъидейности. Тѣмъ же *реализмомъ* отличается и устный разсказъ, поражающій тою «дѣтской наивностью, съ какою ученикъ Гриша воспринялъ и передалъ чистѣйшую гадость»—къ тому же такую, въ которой онъ самъ участвовалъ.

Такимъ же реализмомъ красокъ отличается и сочиненіе, поданное дѣвочкою учительницѣ,—на тему «разсказать, у кого что на душѣ». Но дѣвочка тутъ, съ эпическимъ спокойствіемъ передавая похожденія своей матери,—она незаконная дочь, и этой ей извѣстно,—подъ конецъ даетъ волю своему чувству, ищущему исхода. «Такъ какъ въ гимназію меня не приняли, говоритъ она, то я поступлю въ монастырь... не буду тамъ соблазняться, а все-таки не знаю! Мнѣ какъ не въ монастырь, то болѣе нѣтъ никуда дороги... А не то въ могилу, потому что мнѣ не пережить этой жизни.» Ей такимъ образомъ, какъ и доброму молодцу въ древней повѣсти «о горѣ-злочастіи», представляется одинъ исходъ; но прадѣдовскій идеализмъ той повѣсти сказывается въ томъ, что добрый молодецъ дѣйствительно находитъ за монастырскими стѣнами душевный міръ, тогда какъ дѣвочка, хоть ей и не хотѣлось бы соблазняться, прибавляетъ съ ужасающимъ реализмомъ: «*а все-таки не знаю*». («*Джутовый мѣшокъ*»).

Въ другомъ очеркѣ авторъ приводитъ намъ нѣсколько темъ, заданныхъ деревенскимъ дѣтямъ однимъ учителемъ К—ой губерніи. «Хуже всего, говоритъ онъ, вышла «Сходка»—явленіе, которое постоянно на глазахъ

*

у всѣхъ. Сходку учителя должны были «растолковать», т. е. почти разсказать все содержаніе этой темы. «Драка» и «Сирота», явленія деревенской жизни, постоянно встрѣчающіяся, были еще хуже. Всякій видѣлъ и зналъ сироту и всякій глядѣлъ на драку—и все-таки очень плохо и небрежно написано и о томъ, и о другомъ. О сиротѣ надо было также толковать, отчего сирота бываетъ? куда онъ дѣвается, когда онъ выростаетъ»... Въ «Дракѣ» описывалось только кто, чѣмъ, кого ударилъ... Палку, которою бьютъ—примѣчаютъ больно ли—тоже помнятъ, а корень этой горькой жизни, которая у всѣхъ на виду, — это не касается, или, по крайней мѣрѣ, «чужая не приставай». Самое общественное изъ общественныхъ явленій —«Сходка»— ни у кого не возбудило никакого серьезнаго вниманія, даже тѣни вниманія. Словомъ, и тутъ—та же безъидейность. Своего рода идеализмъ—но очень незавидный—проявился только въ сочиненіяхъ на тему: «Домовой и вообще нечистая сила»; оказалось «и разнообразнѣе, и у каждаго посвоему». Дѣло въ томъ, что «тема—нейтральная; о домовомъ думай сколько хочешь, твоя воля—никто не мѣшаетъ».

Объ этихъ сочиненіяхъ говорится въ очеркѣ «*Деревенская молодежь*» (который во многомъ близокъ съ очеркомъ «*Малые ребята*»). «Я знаю, говоритъ тутъ авторъ, что лучшія силы въ народѣ не увѣруютъ въ то, *что* «люби ближняго» значитъ «чужая не приставай», но упорное отсутствіе изъ народнаго воспитанія всего, что способно облагородить душу человѣческую, не можетъ остаться безъ послѣдствій. Худы были и

безобразны, нелѣпы, глупы и наглы тѣ типы всевозможныхъ саврасовъ и недорослей, выходившіе донынѣ изъ другихъ, болѣе достаточныхъ классовъ; но все это, сравнительно съ тѣмъ, что̀ въ этомъ родѣ намъ предстоитъ видѣть, по истинѣ капля въ морѣ. Одно количество «саврасовъ будущаго» должно уже поразить своими громадными размѣрами, такъ какъ этотъ новый контингентъ олуховъ обѣщаетъ выйти не изъ такихъ сравнительно немногочисленныхъ слоевъ общества, какъ купечество, чиновничество, и т. д., а изъ миліонной массы народа».

Вспоминая «Наказъ» Екатерины II, авторъ обращаетъ вниманіе на то, что онъ обязывалъ во *всѣхъ школахъ* сообщать «формулированный сводъ обязанностей отдѣльнаго человѣка къ обществу». Считалось, стало быть, «нужнымъ не скрывать отъ массы того, что̀, во имя общаго блага, считается вреднымъ и полезнымъ, и т. д. Это было при крѣпостномъ правѣ, когда народъ могъ и не отвѣчать за свои общественные порядки, какъ бы они дурны ни были». Потому-то, замѣтимъ мы отъ себя, внушенія «Наказа» относительно народа и не могли достигать цѣли. Но несомнѣннымъ остается, что «теперь, черезъ сто лѣтъ, ни о чемъ подобномъ нѣтъ и въ поминѣ», — да, и въ поминѣ нѣтъ, хотя теперь-то это и было бы вполнѣ умѣстно и возможно. «Нельзя говорить именно о томъ, что̀ нужно и о чемъ спрашиваютъ, — говоритъ Успенскій, вездѣ ссылаются на крамолу, точно ее слѣдуетъ уничтожить поголовнымъ невѣжествомъ массы.»

Подъ общимъ заглавіемъ: «*Очерки*, *разсказы*, *пись-*

ма» (сюда отнесенъ и затронутый уже нами «*Джутовый мѣшокъ*») помѣщены статьи отчасти фельетоннаго характера, въ которыхъ, однако же, ярко сквозятъ особенности Успенскаго. «*Сонъ подъ новый годъ*» потрясаетъ читателя тѣмъ, что въ деревнѣ одновременно получается тутъ: бумага о милостивомъ пожалованіи мужичкамъ денежнаго пособія и бумага о взысканіи недоимокъ, а тутъ же и міроѣдъ Баранкинъ предъявляетъ цыфру задолженности ему крестьянъ, вполнѣ совпадающую съ цыфрою «пожалованія», — причемъ въ выигрышѣ остается не кто другой, какъ этотъ Баранкинъ. «Комната моментально наполнилась массой народа. Откуда-то явились всѣ эти Перепелкины, Офицеровы, Ворокуевы (недоимщики и должники Баранкина). Помимо уличнаго холода, который пришелъ въ комнату вмѣстѣ съ ними, они внесли въ самихъ себѣ, въ своихъ фигурахъ и выраженіяхъ лицъ, холодъ ихъ избъ, какую-то озяблость всего существа до самаго нутра, до послѣдней капли крови». Симпатичнымъ лицомъ является тутъ волостной писарь Лиссабонскій (интеллигентный и въ то же время близкій къ народу), рѣшающійся выдать пособія прямо въ руки бѣднякамъ, задолжавшимъ Баранкину, а не ему, ихъ заимодавцу, но затѣмъ лишающійся своего мѣста—по каверзѣ того же крестьянскаго ростовщика. Тотъ же Лиссабонскій является въ дальнѣйшихъ очеркахъ дѣйствующимъ уже не во снѣ, а на яву (въ очеркахъ «*На травкѣ*» и «*Своекорыстный поступокъ*» разсказъ ведется отъ его лица). Яркими красками обрисованы, подъ заглавіемъ «*Дѣловые люди*», члены патріархальной крестьянской семьи, начинающей

разлагаться отъ наплыва въ нее некрестьянскихъ условій. «Разладъ, начавшій проникать въ семейство, какъ и во всѣ Русскія деревни, по мѣрѣ того, какъ въ деревню сдѣлался возможнымъ доступъ заработка не исключительно земледѣльческаго, тронулъ описываемое семейство уже давно. Покуда семья эта была исключительно земледѣльческая, совмѣстная общинно-семейная жизнь была всѣмъ понятна. Всякій въ лучшихъ семьяхъ подчинялся сознательно требованіямъ одного для всѣхъ труда и равнаго для всѣхъ благосостоянія. Но вотъ наступили новыя времена, ощутилась надобность въ заработкѣ на сторонѣ. Одинъ изъ среднихъ братьевъ семьи Горшковыхъ поѣхалъ въ Питеръ въ зимніе легковые извощики; другой, тоже средній, сдѣлался лѣсникомъ и сталъ получать жалованье... Извощикъ за пять мѣсяцевъ выслалъ сто рублей, а лѣсникъ добылъ только двадцать пять. Спрашивается, на какомъ основаніи онъ, этотъ лѣсникъ, съ такимъ неограниченнымъ аппетитомъ истребляетъ чай и сахаръ, которые явно куплены на деньги извощика? И кромѣ того, на какомъ основаніи истребляютъ этотъ чай всѣ домочадцы, напримѣръ, старшій братъ?..»

Въ «*Джутовомъ мѣшкѣ*» подрывъ, причиненный его ввозомъ къ намъ, мастерицамъ холщевыхъ мѣшковъ, подрывъ, доводящій ихъ до самаго неблаговидно-печальнаго промысла, и наше общественное равнодушіе къ такому, какъ и къ подобнымъ ему, явленіямъ, приводитъ автора къ слѣдующимъ обобщеніямъ. «Обыкновенно Русское общество привыкло представлять себя въ такомъ видѣ, что половина его здоровая, а другая гнилая; на-

родъ здоровъ, а интеллигенція гниль. Голова сгнила и болтается на мочалкѣ, а въ то же время ноги бѣгаютъ въ лучшемъ видѣ. Что̀ за нелѣпый образъ!.. Если ужь дѣло пошло на аллегоріи, то мнѣ кажется, что Русскіе недуги рисуются нѣсколько въ иномъ видѣ: въ Русскомъ обществѣ тронута параличомъ цѣлая половина тѣла отъ головы до пятокъ, а именно — опять-таки, если говорить сравненіями,—та половина, гдѣ лежитъ сердце человѣческое. Другая сторона, сторона опухшей разстроенной печени, напротивъ дѣйствуетъ и регулируетъ весь строй жизни. Не даромъ у насъ остроги каменные въ четыре этажа, а народныя школы—лачужки, кое-какъ крытыя соломой.»

Плохо живется у насъ интеллигентному человѣку «на травкѣ»—какъ выражается Лиссабонскій, у котораго это выраженіе вполнѣ соотвѣтствуетъ Нѣмецкому опредѣленію того же порыванія къ деревенскому отдыху словами *in's grüne*. Не очень-то вѣрятъ этому стремленью въ самой деревнѣ. «Учитель! Коего ему дьявола воздуху понадобилось за полтораста верстъ отъ Петербурга? Ты за нимъ должонъ глядѣть въ оба. Они мастера разговаривать-то—воздуху!»

Даже самое искреннее стремленіе образованнаго человѣка показать деревенскому люду, что онъ въ самомъ дѣлѣ желаетъ ему добра—въ видѣ, напримѣръ, доставленія ему даровой оспопрививательной матеріи, истолковывается, по крайней мѣрѣ деревенскимъ начальствомъ, въ смыслѣ все-таки «своекорыстнаго поступка» (заглавіе очерка). Поступокъ этотъ совершается опять Лиссабонскимъ, котораго положеніе въ деревнѣ тѣмъ за-

№ 7001

труднительнѣе, что и за предѣлами ея стали глядѣть на такихъ, какъ онъ, очень подозрительно. «Раздумывая теперь объ этомъ, говоритъ Лиссабонскій, я поражаюсь той огромной неподготовленностью Русскаго общества къ воспріятію новыхъ идей, которая дала возможность заподозрить мою скромнѣйшую изъ скромныхъ дѣятельность въ деревнѣ, а главное не догадаться, не видѣть, не *узнать* въ этой дѣятельности *той-же самой* тенденціи, которая лежала въ основаніи великаго событія — освобожденія...» «Теперь ужь не тайна, какихъ трудовъ, какой борьбы стоило лучшимъ Русскимъ людямъ *отстоять* справедливѣйшее дѣло въ высшихъ учрежденіяхъ. Сколько было враговъ, сколько было недоброжелателей... А въ деревнѣ, куда я пошелъ, развѣ нѣтъ *такихъ же самыхъ* враговъ, хотя тамъ и не сановники, а люди въ полушубкахъ?.. Есть и партіи, есть и мнѣнія объ общественныхъ задачахъ и отношеніяхъ, совершенно различныя другъ отъ друга, совершенно несогласныя... Которой же изъ нихъ долженъ былъ я потрафлять? Да, разумѣется, той же самой, которой потрафляли высшіе дѣятели, освобождая крестьянъ... Крупную монету я размѣнялъ на гривенники, какъ и потребно въ деревенскомъ обиходѣ... Но насъ выгнали оттуда, съ позоромъ выгнали. За то, что̀ было потомъ, не я, Лиссабонскій, отвѣтчикъ!» Далѣе Успенскій однако показываетъ, что въ отвѣтчикахъ все же оказывается отчасти и самъ такъ называемый *обыватель*.

Другой хорошій образованный человѣкъ красною нитью проходитъ черезъ рядъ очерковъ, озаглавленныхъ: «*Богъ*

грѣхамъ терпитъ» *), проходитъ вмѣстѣ съ основною мыслью: «времена-то были бы не такія, кабы у васъ, подлецовъ, совѣсть была». Человѣкъ этотъ—Лаптевъ, выступающій на сцену уже въ разсказѣ купца въ первомъ очеркѣ этой серіи (*«Маленькіе недостатки механизма»*). Со всѣхъ сторонъ заподозрѣнный, онъ, однако же, утверждаетъ: «есть возможность не особенно пугаться того, что если и не исполнишь жестокаго приказанія, то безъ хлѣба не будешь». И винитъ онъ не тѣхъ лишь, что̀ стоятъ у власти, если говоритъ: «надо когда нибудь и обывателю почувствовать себя виноватымъ... Все бумага... Да вѣдь бумага-то приходила по желанію обывателя...» «Кто, спрашиваетъ онъ, съумѣлъ обездушить всѣ общественныя учрежденія; кто изъялъ изъ нихъ всякую тѣнь мысли; кто оставилъ отъ нихъ однѣ ободранныя голыя стѣны?.. И кто, наконецъ, съ такою кропотливостью работалъ надъ тѣмъ, чтобы съ корнемъ раздавить малѣйшую попытку дать этимъ дѣламъ душу живу?» (*«Опустошители»*). Указывая на то, что̀ бы могъ въ новое время сдѣлать «хорошій баринъ», авторъ приводитъ рядъ доказательствъ, что онъ не только не захотѣлъ того, но и надѣлалъ множество зла. «Не удивляйтесь поэтому, заключаетъ онъ, что крестьянинъ спѣшитъ приложить печать къ бумагѣ, въ которой про барина идетъ нехорошая рѣчь» (т. е., въ которой баринъ заподозрѣвается властями). (*«Подозрѣваемые»*).

---

*) Къ нимъ относится и уже затронутая выше *«Деревенская молодежь»*.

Предоставленный самому себѣ, не находя вокругъ себя достаточно нравственной силы, чтобы совладать со своимъ домашнимъ врагомъ—міроѣдомъ, мужикъ употребляетъ противъ него только «*свои средствія*» *), подъ которыми слѣдуетъ разумѣть различныя дикія формы допотопнаго самосуда.

Но попадаются кое-гдѣ и «*отрадныя явленія*» *). Вотъ, разсказываетъ крестьянинъ, «избу наняли для странныхъ людей... Теперь сами, чай, видите, сколь много народу идетъ нищаго. Всякій ночевать просится. А пусти—обокрадетъ... Вотъ и порѣшили нанять мірскую избу, чтобы всѣ, кому ночевать требуется, шли бы туда». Дѣло въ томъ, что совсѣмъ не пущать вѣдь нельзя—просто ради допотопной добродѣтели—гостепріимства. Во всякомъ случаѣ тутъ въ самомъ дѣлѣ нѣчто отрадное. «Это, замѣчаетъ авторъ, *тоже своимъ средствіемъ*... Это не *хозяйственное*, а общественное, хоть капельку, но доброе. Тутъ есть ужь вниманіе къ *чужому* горю, тоже капельное, но ужь не только свое...»

А все-таки «*съ человѣкомъ тихо*» **). Хотя «весь жизненный горизонтъ и заставленъ всевозможными такъ называемыми вопросами, проектами и т. п., но холодомъ пустого погреба несетъ отъ нихъ. Рубль и желаніе не потерять его видны въ каждой изъ этихъ, загораживающихъ свѣтъ, «серьезныхъ» общественныхъ задачъ,—

*) Заглавіе особаго очерка.

**) Также заглавіе очерка.

человѣка не видать за ними: не видать его души, его мученій, страданій, недоумѣній, желаній...»

Да, «говоря *биржевымъ* словомъ, «съ *человѣкомъ* тихо»,—и вниманіе къ нему, къ его божественному (эва!) происхожденію превратилось въ нуль, и во всемъ мірѣ по этой части творится что̀-то недоброе». Слѣдуетъ крупный современный примѣръ—Египетская война. «Было ли что-нибудь подобное съ сотворенія міра? спрашиваетъ авторъ.... Завоевать никто ничего не хочетъ, ни о вѣрѣ, ни о свободѣ или освобожденіи (т. е. изъ-за чего прежде воевали) нѣтъ и рѣчи, а просто только: «отдай деньги» и больше ничего. Въ Англіи вздорожали «съѣстные припасы» (такъ и въ манифестѣ объ объявленіи войны написано), нужны деньги, феллахъ не платитъ, и вотъ Англійскіе купцы посылаютъ флотъ съ пушками и начинаютъ выбивать недоимку изъ мужиковъ Египетской губерніи.... «Отдай купонъ, не то убью!»... Отдай, а самъ хоть провались сквозь землю!» При такомъ «послѣднемъ словѣ», опредѣляющемъ главную задачу современной жизни, словѣ, произнесенномъ и освященномъ отборными представителями отборнѣйшей и могущественнѣйшей націи всего свѣта,—мудрено роптать на то, что урядникъ также выдвигаетъ на первый планъ «съѣстные припасы» и во имя ихъ желаетъ обезпеченія. Да, и мудрено роптать, и нельзя, однако же не роптать, такъ какъ какой-нибудь деревнѣ Ограбленной не легче же отъ того, что то̀-же самое происходитъ и въ «Египетской губерніи».

Послѣдствія того, что «съ человѣкомъ тихо,» наглядно показаны въ «отрывкахъ изъ Записокъ Тяпуш-

№ 7011

кина», озаглавленныхъ «*Волей-неволей*». Это, несомнѣнно одно изъ глубокомысленнѣйшихъ произведеній Успенскаго. Тутъ есть и цѣлыя страницы высокаго художественнаго достоинства, тутъ блестящіе зачатки цѣлаго психологическаго романа, но опять-таки оборваннаго волею судебъ—или, вѣрнѣе, самого автора. Записки начинаются главою «вмѣсто предисловія». Она заключаетъ въ себѣ сѣтованія сперва на нашу безтолочь вообще, выразившуюся между прочимъ въ томъ, что похороны такого писателя, какъ Тургеневъ, приняты были у насъ—пожалуй и съ обоихъ концовъ—въ какомъ-то политически-демонстративномъ смыслѣ, почему тутъ и оказались замѣшанными «Закубанскіе казаки». Далѣе слѣдуютъ уже сѣтованія на всякую собственно деревенскую безтолочь. Но сила не въ этомъ якобы предисловіи, а въ самыхъ запискахъ, въ обстоятельствахъ жизни ихъ составителя и въ его размышленіяхъ. Одно перепутывается съ другимъ, да и самая жизнь разсказывается безъ всякой хронологической послѣдовательности. Постараемся установить ее въ нашемъ изложеніи.

Тяпушкинъ родился въ деревнѣ, гдѣ отецъ его былъ сельскимъ священникомъ, родился еще въ крѣпостную пору. «Огромная масса тогдашняго священства, напоминаетъ онъ намъ, вступала въ бракъ непремѣнно вопреки человѣческому достоинству... ставя ни во что быть искреннимъ и свободнымъ въ такихъ отношеніяхъ, гдѣ необходимо быть свободнымъ. Одно это уже прекращало дѣятельность сердца у сотенъ тысячъ народа на Руси, переходило изъ поколѣній въ поколѣнія, и,

благодаря этому, выработались поразительные типы буквально безсердечныхъ людей, людей съ *атрофированнымъ сердцемъ*... Мой отецъ и мать были жертвами этого принципа. Ни онъ, ни она не подходили другъ къ другу, не понимали другъ друга, не нравились другъ другу, и жили въ постоянной мрачной тоскѣ иногда нескрываемаго отвращенія, а иногда горькаго сознанія общаго безвыходнаго горя и несчастія.» А тутъ еще и «старая крѣпостная деревня съ забитыми крестьянами, предъявлявшими къ отцу иногда чисто языческія требованія, и помѣщикъ-самодуръ, «воля» котораго царила и надъ отцомъ, и надъ крестьянами, а «воля» эта была глупая, грубая, безсмысленно-жестокая, несуразная»... Примѣромъ тому, между прочимъ, служитъ, что баринъ, желая узнать, кто изъ дворовыхъ укралъ у него мѣшокъ овса, принимался гадать—открывалъ псалтырь, гдѣ придется», а «отецъ мой, вспоминаетъ Тяпушкинъ, получалъ множество приказаній разъяснять тексты и предъявлять соображенія, на кого именно изъ прислуги слѣдуетъ, согласно смыслу текста, обрушить наказаніе? И отцу приходилось служить этой подлости, конечно, опять-таки бѣснуясь... Нѣтъ, не о человѣческомъ достоинствѣ говорятъ такія воспоминанія! Тѣмъ менѣе говорятъ они о протестѣ». Послѣ этого совершенно понятно, что «грѣхъ и неизбѣжное за него наказаніе висѣли надо всѣми, когда мало-мальски прояснялось сознаніе и просыпалась совѣсть. И надъ отцомъ, и надъ матерью, и надъ кучеромъ, который, по приказанію барина, сѣчетъ своихъ близкихъ, и надъ близкими, которые даютъ волю кучеру, и надъ матерями, которыя не

вступаются за дѣтей — надъ всѣми тяготѣло сознаніе измѣны противъ ближняго, сознаніе попранія своей совѣсти изъ какого-то страха, узости и мерзости душевной, безсовѣстности»... И вотъ, въ самыя «искреннія минуты», минуты пробужденія запуганной, такъ сказать, въ пятки ушедшей души, начинались «задушевные разговоры о томъ, «что̀ кому будетъ за все это?»—т. е. будетъ тамъ, въ той жизни, въ которой и заключается вся отрада, единственная опора такихъ людей, искренно вѣрующихъ, по крайней мѣрѣ чувствующихъ необходимую потребность вѣровать. «Не знаю, какъ кому, говоритъ Тяпушкинъ, но мнѣ никогда не приходилось слышать, чтобы представленія народа о раѣ, о наградѣ на небесахъ, были также подробно и ясно выработаны, какъ представленія объ адѣ, о томъ, что̀ кому и за что будетъ. Въ раю, сколько я знаю, никто никогда не указалъ мнѣ никакихъ подробностей обстановки, никакого удовлетворенія настрадавшейся на землѣ души, кромѣ какихъ-то золотыхъ яблочекъ да архангельскаго пѣнія. Тогда какъ адъ — это другое дѣло! Адъ разработанъ народной фантазіей до мельчайшихъ подробностей... точно изслѣдователи имѣли въ рукахъ программу на этотъ счетъ отъ какого-нибудь статистическаго комитета... Можно положительно сказать, что я едва только вышелъ изъ утробы матери, какъ узналъ, что въ концѣ-концовъ, мнѣ предстоитъ крюкъ въ ребро и огонь, и что, кромѣ какой-то неизбывной вины и тяжкаго грѣха, нѣтъ ничего важнаго и значительнаго.» Такимъ образомъ и религіозно настроенное возбужденіе, этотъ идеальный полетъ съ земли, разрѣшался ниспаденіемъ

въ преисподнюю; самая вѣра принимала исключительно мрачный характеръ, дѣйствовала убійственно, не развивала силы бороться съ грѣхомъ, а только окончательно подкашивала у духа крылья.

Но вотъ отецъ Тяпушкина рано овдовѣлъ и, оставшись одинъ съ ребенкомъ, отказался отъ службы въ сельской церкви, перебрался въ городъ — или, лучше сказать, за городъ, въ качествѣ священника при острожной церкви, помѣстился во флигелькѣ возлѣ острога, невдалекѣ отъ кладбища и сумасшедшаго дома съ большимъ садомъ, изъ котораго нерѣдко слышались бѣшеные крики...

«Спишь, бывало, вспоминаетъ Тяпушкинъ, и слышишь, стучитъ кто-то въ окно: откроешь глаза—темная осенняя ночь, темная, какъ тюрьма... «Кто тамъ?» немедленно спрашиваетъ отецъ, вскакивая съ своего дивана, который стоялъ въ той же комнатѣ, гдѣ спалъ и я.—Ваше благословеніе, къ «скрозь строю» пора!»— Сейчасъ, сейчасъ! — отвѣчаетъ отецъ, встревоженный, взволнованный, растерзанный и начинаетъ метаться по комнатѣ, охая и восклицая: «Боже мой! Боже мой»... А вѣдь этотъ отецъ, по словамъ его сына, былъ «натура нервная, впечатлительная, расположенная къ изящному»... И такой-то человѣкъ идетъ для исполненія великой предсмертной требы къ «скрозь строю»! Между тѣмъ ребенокъ, оставшись совсѣмъ одинъ, прислушивается. «Я совсѣмъ замираю, задыхаюсь, вспоминаетъ Тяпушкинъ; это тронулся въ путь отрядъ солдатъ, ихъ человѣкъ пятьсотъ, они идутъ въ ногу, разъ-два, разъ-два, и вотъ эти-то шаги отдаются у насъ въ домишкѣ,

подъ поломъ. Удары становятси тише... солдаты уходятъ, наконецъ ихъ совсѣмъ не видать... Я слышу глухой, точно въ глубинѣ земли зарытый звукъ барабана, звукъ непрерывающійся... а рядомъ съ нимъ тянется протяжный, непрерывный, жалобный крикъ крошечнаго ребенка... Нѣтъ! это не ребенокъ кричитъ, это *тотъ*... Это огромный какой-то кричитъ дѣтскимъ голосомъ... А барабанъ стучитъ подъ землей долго, долго...»

Вотъ страницы, которыя по силѣ своего ужасающаго дѣйствія стоятъ того, что̀ говоритъ у Достоевскаго о дѣтскихъ страданіяхъ Иванъ Карамазовъ. Казалось бы этихъ страницъ Успенскаго достаточно для того, чтобы отбить у нѣкоторыхъ публицистовъ безсердечную ихъ замашку—они вѣдь не глупы—превозносить ту пору, когда рядомъ съ крѣпостничествомъ существовалъ и «скрозь строй», и не поминать наступившей затѣмъ поры съ пѣной у рта.

Но вотъ Тяпушкинъ въ гимназіи. Онъ попадаетъ въ нее еще при инспекторѣ—«человѣкѣ мертваго сердца и мертваго ума» (какъ и только что упомянутые публицисты—не глупцы, но люди съ «мертвымъ умомъ» и совсѣмъ безъ сердца). «Тишина, молчаніе... фронтъ, стрижка подъ гребенку... всѣхъ въ извѣстный день и часъ—вотъ матеріалъ, на которомъ практиковалъ онъ свое мертвое сердце». Но вотъ неожиданно наступаетъ другая пора — та, которая положила конецъ и «скрозь строю». Мы помнимъ ея наступленіе, мы тогда кончали курсъ въ университетѣ и сразу почувствовали, что кромѣ отмѣны фронта (который тогда былъ заведенъ

и въ университетѣ, какъ и въ гимназіи, и въ которомъ, правду сказать, особой бѣды еще не было) отмѣнено было и подлежало дальнѣйшей отмѣнѣ многое, многое (составлявшее уже прямую бѣду)... Но прежніе порядки сдѣлали свое дѣло, засѣли въ самое человѣческое нутро, и глубоко, глубоко засѣли. Сказавъ о томъ, какъ у нихъ въ гимназіи, вмѣстѣ съ новыми начальствами, появился и новый учительскій персоналъ, и новая манера обращаться съ учениками, Тяпушкинъ прибавляетъ: «лекціи намъ нравились (въ старшихъ классахъ тогда дѣйствительно завелись скорѣе лекціи, чѣмъ уроки), учителей мы любили», но отсутствіе въ насъ «личности», чувства личной отвѣтственности, обязанности и чести, разъѣдало насъ, какъ свѣжій воздухъ трупы. (Сравненіе, равносильное другому сравненію того, что̀ тогда происходило, съ весеннимъ таяніемъ петербургскихъ улицъ, таяніемъ зловоннымъ). «Мы какъ-то разслабли отъ этой гуманности, размякли, даже развратились.» Учителя къ тому же зашли даже слишкомъ далеко, не сообразивъ, что эти юноши съ дѣтскихъ лѣтъ привыкли дѣйствовать «изъ-подъ палки». Немудрено, если «лгать въ глаза «любимому» учителю, не учить никакихъ уроковъ, пьянствовать, вмѣсто того, чтобы «самостоятельно» работать,—вотъ, примѣрно, въ какихъ некрасивыхъ формахъ отразилось на насъ человѣческое отношеніе къ намъ новыхъ учителей... Мы чувствовали и знали, что это скверно, омерзительно, но не могли остановить себя»... Дѣло кончилось тѣмъ, что «въ одно майское утро въ директорскомъ саду нашли въ безчувственномъ состояніи директорскую горничную,

которая, очнувшись, разсказала потрясающую исторію про нѣкоторыхъ изъ воспитанниковъ.» И такъ оно выходило вездѣ, куда ни оглянешься: вмѣсто настоящаго пользованія свободой, черезчуръ запоздавшей къ намъ— вездѣ, въ самыхъ даже литературныхъ сферахъ — какая-то безшабашная, омерзительная вакханалія!

Но вотъ Тяпушкинъ и самъ—отецъ. Къ этой порѣ относится одинъ, какъ онъ говоритъ, самый «возмутительный случай» въ его жизни. Однажды онъ, сидя вечеромъ около колыбели своего собственнаго четырехмѣсячнаго ребенка, могъ думать такую черную думу: «Хорошо, если бы этотъ ребенокъ умеръ!» Мысль объ этомъ «возмутительномъ случаѣ» не выходитъ у него изъ головы, не смотря ни на какую каждодневно прочитываемую одуряющую газетную безтолочь, въ родѣ того, напримѣръ, что «для Болгаріи, какъ страны юной, необходимо было бы республиканское устройство, а для Россіи, какъ страны опытной и пожилой, необходимо уничтожить и гласные суды, какъ учрежденія, гдѣ невинное бормотаніе господъ облакатовъ можетъ смущать умы соотечественниковъ тлетворными мечтаніями»; или же въ родѣ такой, уже совершеннѣйшей ахинеи, что «такъ какъ женщинамъ свойственнѣе дѣтскія болѣзни, то клиника дѣтскихъ болѣзней закрывается, а вмѣсто ребенка дается солдатъ — на томъ основаніи, что лѣченье мужскихъ болѣзней несвойственно женщинамъ». Память о «возмутительномъ случаѣ» не давала покоя Тяпушкину и тогда, когда всѣ вокругъ него успокоились, думая, что «наконецъ нашли виноватаго»—а именно нашли въ мужикѣ, о которомъ «слишкомъ много гово-

рили», для котораго «слишкомъ много сдѣлано», и который вмѣстѣ съ заботой о немъ никому и ничему не даетъ прохода—«къ буфету, должно-быть», объяснялъ Тяпушкинъ. Онъ однако остановился передъ этою новою вакханаліею безстыдства, замѣтивъ, что «кричимъ мы вовсе не отъ мужика, а отъ той «язвы правды», которую мужикъ возбуждаетъ въ нашемъ сознаніи». Воображеніе подсказало ему при этомъ и сравненіе съ Алешей Поповичемъ, который «только было разгулялся, разпьянствовался въ стольномъ городѣ» и къ которому вдругъ «навезли схимъ, веригъ». Хоть и не по вкусу, а пришлось признавать въ этомъ правду, такъ какъ «совѣсть его запрягла въ этотъ хомутъ». «Сколько разъ, вѣроятно, гадаетъ Тяпушкинъ, задыхаясь въ этомъ хомутѣ, онъ вопіялъ: довольно! довольно!» Теперь ужь конечно—не «схимы, и не вериги», а другое,—или пожалуй и тѣ же «схимы да вериги», только уже не въ буквальномъ, а въ иносказательномъ смыслѣ—въ смыслѣ дѣйствительнаго опыта переработки собственной своей личности добровольнымъ подвижничествомъ во имя общаго блага. И все же, не смотря ни на какія важныя думы этого рода—та же, постоянно преслѣдующая его, мысль о «возмутительномъ случаѣ», находящемся, правда, въ тѣснѣйшей связи съ подобными думами. И вотъ онъ рѣшается обстоятельно истолковать читателю этотъ «возмутительный случай», понимая, что это не будетъ предметомъ для «легкаго чтенія». «Хочу, говоритъ онъ, терзать и мучить читателя потому, что эта рѣшимость дастъ мнѣ право говорить о насущнѣйшихъ и величайшихъ мукахъ, переживаемыхъ этимъ самымъ читате-

лемъ.» Онъ точно будто бы чуетъ въ себѣ тотъ же самый «жестокій талантъ», который нѣкоторою частію нашей критики усматривался у Достоевскаго. Такой «жестокій талантъ» дѣйствительно есть у Тяпушкина—вѣрнѣе сказать у Успенскаго, — но не лихомъ, а добромъ будутъ поминать его и тогда, когда уже насъ не будетъ.

Для объясненія своего «возмутительнаго случая» Тяпушкинъ приводитъ примѣры. «Если волкъ, говоритъ онъ, безпрестанно рыщетъ и рветъ на части овецъ и собакъ и все-таки никогда не бываетъ сытъ, такъ основаніе къ этому—чрезмѣрная любовь его къ семейству... Быть сытымъ нужно и собакѣ, не только волку, но собака уже шире развила свою личность и *лично* понимаетъ необходимость *общественныхъ* отношеній: она кормитъ своихъ дѣтей также, какъ и всякая тварь, но дѣлаетъ это, предпочитая караулить тѣхъ же овецъ и овечьихъ дѣтей, также какъ и своихъ. Ну, а человѣкъ со своимъ Жоржикомъ не ограничивается собачьимъ способомъ, а готовъ иной разъ прибѣгать и къ волчьему,—при всемъ своемъ «божественномъ происхожденіи», какъ выразился однажды Успенскій, тутъ же болѣзненно вскрикнувъ: «эва!» — Вотъ именно боязнь ухватиться за волчій способъ, она-то и привела Тяпушкина къ мысли: «кабы этотъ ребенокъ умеръ!» Вѣдь ежели онъ не умретъ, то невольно пожалуй увлечешься мыслью, будто «нужно для его блага пожертвовать собой, т. е. покориться, принять всю черноту жизни на себя, сдѣлать такъ, чтобы не орать во имя реформы противъ «кушетки» вообще, а чтобы только Жоржика не драли». Между тѣмъ не онъ ли, Тяпушкинъ, «съ вос-

хищеніемъ и съ жаждой готовъ былъ погибнуть» именно за общее, даже не Русское только, но и міровое благо? Все это выработалось въ немъ книжнымъ, исключительно *головнымъ* путемъ, а потому-то ему постоянно и приходится ощущать, что «отъ этого общаго дѣла къ его личному дѣлу—нѣтъ дороги, нѣтъ даже тропинки».

Тяпушкинъ старается отыскать причину всему этому въ прошломъ, въ нашей исторіи. «Личность мою, говоритъ онъ, уничтожили и Византійство, и Татарщина, и Петровщина; все это надвигалось на меня нежданно негаданно, все говорило, что это нужно не для меня, а *вообще*, для отечества, что мы *вообще* будемъ глупы и безобразны, если не догонимъ, не обгонимъ, не перегонимъ... Какъ тутъ думать о *своихъ* какихъ-то правахъ, о достоинствѣ, о человѣчности отношеній, о чести, когда что ни «улучшеніе быта,»—то только слышно хрустѣніе костей человѣческихъ, словно кофей въ кофейницѣ размалываютъ.» Когда онъ, Тяпушкинъ, былъ въ гимназіи—еще при прежнихъ учителяхъ, имъ на урокахъ отечественной исторіи говорили: «Мы расширили свои предѣлы «отъ»—«до»... и все безъ малѣйшихъ трудностей, даже какъ-бы безъ людей... И вотъ это-то «*мы*» и неизбѣжно сопровождавшій его результатъ расширенія нашихъ предѣловъ могли настолько овладѣть моимъ вниманіемъ, что я почти легко забывалъ личное позорнѣйшее униженіе. Мнѣ ужь было пріятно за этихъ «мы», за ихъ «успѣхъ». Но главное-то, прибавимъ мы отъ себя, въ томъ, что изъ-за этихъ: «мы» совсѣмъ не выглядывали отдѣльныя, входившія въ составъ коллективнаго народнаго *я* живыя личности, что при этомъ

вовсе не сознавалось, какой прокъ отъ такого «успѣха» оказывался для этихъ живыхъ людей; что отечество являлось тутъ не какъ родная земля со всею совокупностью пользующихся отъ нея личныхъ жизней, а какъ какой-то надо всѣмъ тяготѣющій кровожадный Молохъ, которому должны быть приносимы человѣческія жертвы.

Сказавъ въ другомъ мѣстѣ о томъ, что «личное участіе, личная жалость были ему незнакомы», что «въ сердцѣ его «не было запаса человѣческаго чувства», Тяпушкинъ замѣчаетъ при этомъ: «что-то подобное свойствамъ моего сердца было въ сердцѣ такого замѣчательно-загадочнаго человѣка, какъ Иванъ Грозный. Вѣдь вотъ передъ толпой, передъ массой людей, передъ моремъ человѣческихъ существъ, слитыхъ воедино въ особый организмъ толпы, этотъ человѣкъ могъ публично, на Красной площади, каяться, плакать, просить у этого организма прощенія... А отдѣлись отъ этого организма толпы частица, песчинка, и объявись она въ видѣ человѣческой фигуры, съ человѣческими потребностями, просьбами, желаніями—словомъ, со всѣми мелочами «человѣческой породы»—тотчасъ замираетъ не только потребность покаянія, а и вниманія ...Неразработанное въ этомъ отношеніи сердце, не пережившее этихъ человѣческихъ мелочей, а прямо въ звѣриномъ образѣ закованное въ крѣпкую кору Византійства, не хочетъ, не можетъ быть внимательнымъ и отзывчивымъ на мелочи; оно неуклюже, неуютно для этого. Уйди напротивъ это надоѣдливое, отдѣльное лицо въ толпу (спрячься подальше этотъ противный ближній, какъ говорилъ Иванъ Карамазовъ)... и проснувшемуся

звѣрю легче, потому что онъ и своихъ-то личныхъ жизненныхъ и живыхъ мелочей не цѣнитъ, не умѣя ни облагородить, ни развить. Ему и самому легче понизиться изъ царей въ монахи, изъ повелителя въ повинующагося».

Говоря все это, Тяпушкинъ, надо думать, далекъ отъ того, чтобы скорбѣть объ отсутствіи въ нашей исторіи личности въ *томъ* Западно-Европейскомъ смыслѣ, въ какомъ она тамъ развилась въ видѣ хищника феодала, столь отталкивающими чертами обрисованнаго нашимъ авторомъ. (Хотя Тяпушкинъ, правду сказать, иногда совершенно некстати въ какомъ-то сочувственномъ тонѣ употребляетъ слово *эгоизмъ*). У него, очевидно, запросъ на личность въ *томъ* также сказавшемся на Западѣ смыслѣ, уже сочувственномъ нашему автору, что тамъ не заставляютъ себя изъ-подъ палки дѣлать то, что̀ претитъ душѣ, что̀ противорѣчитъ убѣжденію. Если Тяпушкинъ такъ крѣпко и часто жалуется на то, что мы говоримъ: «намъ самимъ ничего не надо», то онъ бы, конечно, первый хотѣлъ, чтобы мы говорили то-же, да не въ томъ смыслѣ, т. е. желали бы этимъ сказать: каждый изъ насъ готовъ добровольно ограничить свои потребности, чтобы только удовлетвореніе ихъ выходило поравномѣрнѣе съ остальными. Мы же постоянно говоримъ: «намъ ничего не надо» только въ смыслѣ: намъ не надо ни во что вмѣшиваться, для насъ—хоть трава не расти, наша хата съ краю—только бы, разумѣется, не запала отъ нея дорожка *въ буфетъ!*

Не даромъ же говоритъ онъ, доходя почти до от-

чаянія: «добиваться своего личнаго благообразія, достоинства и совершенства намъ трудно, необыкновенно, да и поздно». «*Уведи* меня въ станъ погибающихъ», вопіетъ герой поэмы Некрасова... И въ самомъ дѣлѣ лучше его увести туда, а не то, оставьте только его съ самимъ собой, такъ вѣдь онъ отъ какого-нибудь незначительнаго толчка—того и гляди шмыгнетъ въ станъ, «обагряющихъ руки въ крови». Тургеневская Елена въ «Наканунѣ» говоритъ: «кто отдался весь, весь, *тому горя мало*... тотъ ужь *ни за что не отвѣчаетъ*. *Не я* хочу, *то* хочетъ!» Видите, какое для насъ удовольствіе *не отвѣчать* за самихъ себя, какое спасеніе броситься въ большое справедливое дѣло, которое бы поглотило наше *я*, чтобы это *я* не смѣло хотѣть, а иначе... оно окажется весьма мучительнымъ для собственнаго своего обладателя. Иначе оно—«горе»... Зато «горя мало не *отвѣчать за себя*, имѣть возможность забыть себя, сказавъ: *не я* хочу, *то* хочетъ»..... Конечно, замѣтимъ мы на это, слова Тургеневской Елены вовсе не сказаны въ такомъ обезличивающемъ смыслѣ, а въ смыслѣ плодотворнаго проникновенія господствующею идеею всего нашего существа, нашей живой души, но дѣло въ томъ, что̀ хочетъ своею оцѣнкою этихъ словъ сказать Тяпушкинъ, вопіющій противъ того, что мы *забываемъ себя*—не въ смыслѣ *самоотверженія*, а въ смыслѣ забвенія въ себѣ самодѣятельнаго *творческаго начала*, этого образа и подобія самого Творца, этой истинной *искры* Божіей.

Если Тяпушкинъ говоритъ про своего ребенка, имѣя въ виду всю совокупность вызванныхъ имъ ощущеній

и думъ, весь ихъ окончательный итогъ: «онъ пробудилъ во мнѣ меня»,—то это тó же, чтò въ своей Пушкинской рѣчи говорилъ Достоевскій, но говорилъ во второмъ лицѣ и въ повелительномъ наклоненіи: «найди въ себѣ себя!», т. е. найди свое сильное, властное надъ собою, творческое *я!*

Послѣ всего этого Тяпушкинъ совершенно логически заключаетъ: «если насъ обезличивала старая исторія—Византійствомъ, Татарщиной, Петровщиной и т. д., то страшно представить себѣ, что и новая также хлопочетъ не о правѣ самостоятельнаго развитія, а предлагаетъ готовую совсѣмъ, во всѣхъ деталяхъ выработанную промышленность, кредитъ и даже «свое удовольствіе». Вѣдь отъ всѣхъ этихъ готовыхъ удобствъ можно съ ума сойти, можно возопить наконецъ не своимъ голосомъ: «уведи меня!»

Тяпушкинъ видитъ только одинъ—«не готовый къ нашимъ услугамъ, не шаблонный, а оригинальный путь»,—путь прямыхъ отвѣтовъ на прямо поставленные вопросы: «Можно ли умирать кому-нибудь съ голода?—Нѣтъ.—Ну, и надо дѣлать, чтобы не умирать. Хорошо ли такое явленіе, какъ проституція?—Нѣтъ. Стало быть, не надо, чтобы она была. Нравится ли вамъ типъ вора, убійцы, тонкаго хищника, невѣжество вольное и невольное?—Нѣтъ... Такъ надо идти туда, гдѣ никто ничего, также какъ и я, не знаетъ, гдѣ кишитъ нужда въ тысячахъ вещахъ, идти туда и дѣлать то, чтò велитъ жизнь...» На наше счастье, дѣлать это, достигать всего, здѣсь указаннаго, у насъ *пока* все-таки еще легче, чѣмъ у нашихъ сосѣдей, только бы мы окончательно

не прозѣвали всего, и слово *пока* не пришлось бы похерить. На бѣду же, именно вытекающее изъ логики вещей, именно потому-то и «обязательное» для насъ почему-то превратилось, какъ заканчиваетъ Тяпушкинъ, въ «запретное и недопускаемое».

VII.

Крестьянинъ и крестьянскій трудъ.—Власть земли и проч.—Пришло на память.

Самая тѣсная связь оказывается у нашего автора между двумя довольно большими трудами—*Крестьянинъ и крестьянскій трудъ*» и «*Власть земли*». Въ томъ и другомъ одинаково отстаивается эта своеобразная власть, читателю внушается при этомъ особаго рода поэзія этой власти, но въ томъ же читателѣ съ другой стороны возбуждаются и сомнѣнія въ томъ, чтобы власть эта во всѣхъ отношеніяхъ могла удовлетворять человѣка, его душу живу. Въ первомъ трудѣ своего рода героемъ является Иванъ Ермолаевичъ, крестьянинъ, остающійся покорнымъ «власти земли»; во второмъ—Иванъ Босыхъ, крестьянинъ, измѣняющій ей подъ вліяніемъ обстоятельствъ, но послѣдствіями своей измѣны наглядно доказывающій намъ неприкосновенность и святость этой самой власти. Иванъ Ермолаевичъ, по выраженію автора, это *аристократически-крестьянская душа*, т. е. это, такъ сказать, *чистокровный крестьянинъ*—то, что у Риля *der echte Bauer*. Для него, кромѣ ржаного поля съ его колосомъ, никакихъ интересовъ не существуетъ; дѣло въ томъ, что за нимъ рядъ предковъ, которые

«ни много, ни мало, какъ тысячу лѣтъ, думали о томъ же ржаномъ полѣ и, какъ прибавляетъ авторъ, «ничего не выдумали и не сдѣлали для того, чтобы хоть капельку облегчить» трудящемуся надъ этимъ полемъ «возможность быть сытымъ». Дѣло въ томъ, что «тысячу лѣтъ тому назадъ были тѣ же наслѣдственныя принадлежности рода—«тѣ же лапти, та же соха, та же тяга, что̀ и теперь». То же передаваемое изъ поколѣнія въ поколѣніе крѣпкое, непоколебимое, своеобразно выражаемое исповѣданіе: «Вѣрую во единаго Бога Отца, и въ небо, и въ землю. Видимо невидимо, слышимо неслышимо» и т. д. То же наслѣдственное міросозерцаніе консерватора, по которому «случайности природы онъ сосредоточиваетъ въ Богѣ, случайности всевозможной политики—въ царѣ, та же стойкость въ отстаиваніи своихъ воззрѣній, предъ которою пришлось спасовать даже графу Аракчееву, когда онъ «вломился со своими реформами въ хлѣвъ, сталъ соваться съ приказами на счетъ коровъ, опредѣляя часть выгона и пригона, приказывалъ пахать такъ, а не иначе, словомъ, сталъ дерзко распоряжаться въ самыхъ нѣдрахъ земледѣльческаго творчества, искусства, сталъ безжалостно разрушать поэзію земледѣльческаго труда». «Это та поэзія ржаного поля, которая опять-таки передается изъ поколѣнія въ поколѣніе и которую передать въ словѣ не могъ и самъ Пушкинъ, а могъ только «поэтъ-прасолъ»: «Весело на пашнѣ, я *самъ-другъ съ тобою*, слуга и хозяинъ... Ну, тащися, сивка!». «Сколько, говоритъ нашъ авторъ, тутъ разлито радости, любви, вниманія, и къ чему? Къ гумну, къ колосу, къ травкѣ, къ клячѣ, съ которою

человѣкъ разговариваетъ, какъ съ понимающимъ существомъ»,—разговариваетъ, какъ хозяинъ и самъ же себѣ слуга, все находящій въ самомъ себѣ, въ своемъ неустанномъ трудѣ, своей выносливости и умѣлости. «Раззудись плечо, размахнись рука, говоритъ онъ съ несомнѣннымъ увлеченіемъ; зашуми трава подкошенная, поклонись цвѣты головой землѣ». Вотъ это-то «творчество въ земледѣльскомъ трудѣ, поэзія его, его многосторонность, говоритъ Успенскій, и составляютъ для громаднаго большинства нашего крестьянства жизненный интересъ, источникъ работы мысли, источникъ взглядовъ на все окружающее его, источникъ едва-ли даже не всѣхъ его отношеній, частныхъ и общественныхъ.» Во имя-то всего этого авторъ и озаглавилъ особую главу внушительнымъ словомъ: «не суйся!»

Сущность земледѣльческаго труда воспроизвелъ и самъ народъ въ той былинѣ, которую Успенскій очень мѣтко назвалъ *загадкой*. Это былина о Святогорѣ богатырѣ, способномъ своротить землю и неспособномъ поднять маленькой сумочки переметной, съ которою такъ легко справляется Микулушка Селяниновичъ. Отъ этой чудной былины, какъ и отъ многихъ другихъ, ничего почти не осталось—съ тѣхъ поръ, какъ у насъ завелась ученая теорія о заимствованіяхъ, ведущая, въ томъ видѣ какъ она у насъ практикуется, къ вывѣтриванію изъ памятниковъ народной словесности живого смысла, живой души. Успенскій отнесся къ этой былинѣ безъ всякихъ ученостей, онъ отозвался на живую душу народной поэзіи своею живою душою — и призналъ въ Микулиной сумочкѣ, помимо какихъ-либо Гордіевыхъ

узловъ или различныхъ апокрифическихъ тяжестей, то, что въ ней видитъ народъ—*тягу земную*, тягу, приходящуюся по силамъ только Селяниновичу, котораго *любитъ мать сыра земля*.

Но не остался при этой тягѣ крестьянинъ Иванъ Босыхъ. Подъ наплывомъ новыхъ обстоятельствъ, не совладавъ съ ними, онъ было направилъ въ другую сторону свою богатырскую силу. «Въ прежнее-то время домъ нашъ, говоритъ онъ, семейство — первые были хозяева по крестьянству. Что скотъ, что народъ—одинъ къ одному на подборъ были подобраны... Вотъ за это самое, за нашу породу, наше семейство и было у барина на примѣтѣ, въ солдаты изъ нашей семьи баринъ никого не отдавалъ а все отсаживалъ въ другія свои деревни на раззаводъ племя... То дѣвку возьметъ,—парня ей купитъ подъ кадриль. Еруслана какого-нибудь въ Самарскую губернію отсадитъ, то брата съ женой, съ сыномъ въ курень.» Это, очевидно, было еще при крѣпостномъ правѣ, вносившемъ такимъ образомъ въ поэзію крестьянской жизни довольно много непоэтическаго. Нашъ авторъ совершенно вѣрно замѣтилъ въ одномъ изъ своихъ очерковъ *), что у барина въ тѣ времена «былъ скотный дворъ организованный изъ людей, но—организованный. Возвращенія къ нему не можетъ быть, но возвратиться къ «организаціи», перейти отъ полнаго невниманія къ массамъ къ самому искреннему вниманію—необходимо». Въ тѣ времена было вниманіе — конечно только у умныхъ помѣщиковъ—и въ сущности, конечно только къ

*) «*Не случись*».

своимъ же хозяйственнымъ интересамъ, зависѣвшимъ отъ крестьянина, который почему-то и самъ, косвенно, конечно, но удостоивался вниманія. «Въ настоящее время, говоритъ нашъ авторъ, случайности, обставляющія крестьянскій трудъ, играющія огромную роль въ благосостояніи массъ, не составляютъ предмета серьёзнаго вниманія со стороны такъ называемыхъ командуюшихъ классовъ»,—тогда какъ только при подобномъ вниманіи и было бы додѣлано дѣло освобожденія отъ крѣпостной зависимости. Вслѣдствіе такой его недодѣланности автору и пришлось сказать въ VII гл. своей «Власти земли»: «рискуя быть причисленнымъ къ разряду заскорузлыхъ крѣпостниковъ, я долженъ сказать, что при крѣпостномъ правѣ наше крестьянство было поставлено по отношенію къ землѣ въ болѣе правильныя отношенія, чѣмъ въ настоящее время». Въ сущности, автору, послѣ всѣхъ, нарисованныхъ имъ ужасныхъ картинъ крѣпостного права, конечно, нельзя быть заподозрѣннымъ въ крѣпостничествѣ. Онъ можетъ съ спокойною совѣстью говорить, что «земли у помѣщичьихъ крестьянъ было вдвое болѣе противъ теперешняго». Также точно можетъ онъ устами своего Ивана Босыхъ, жаловаться на то, что «его теперича можетъ драть свой же братъ мужикъ» и что это для него особенно обидно. Такое дранье, какъ извѣстно, происходитъ изъ-за податей, хотя тутъ могутъ примѣшиваться и личные счеты со стороны старшины. Съ тѣхъ поръ какъ Ивану пришлось испытать эту порку по приговору, онъ и потерялъ себя. «Все мнѣ тоска, свѣтъ не милъ, вспоминаетъ онъ, дворъ пустой. Только и есть кабакъ (хотя и прежде,

правду сказать онъ съ нимъ былъ знакомъ). И во
вать даже сталъ!» Вотъ тутъ-то и подвернись ему оди
добрый баринъ, опредѣлившій его на желѣзнодорожн
станцію. Только на повѣрку вышло, что это не
добро. Разставшись съ земною тягою и попавъ на
ладъ въ 35 р., Иванъ почувствовалъ «волю», «жиз
свободную», и проклинаетъ же онъ ее теперь. Отъ эт
то «легкой жизни и дошелъ онъ наконецъ до того,
«тр-р-р-и мамзели завелъ», «просто совѣсти не ос
лось»; дошелъ до того, что, въ свое время запивъ о
мірского дранья, сталъ теперь благословлять зат
щину, данную ему начальникомъ станціи.

Иванъ опомнился, вернулся домой, палъ женѣ
ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работа
хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану че
вѣкомъ.» И ужь принялся же я, говоритъ онъ, въ
пору! И все-то мнѣ мило—и пашня, и соха, и боро
и дровни, и телушка, и сарай, что́ покосился, и забо
и колода... Все — точно родные друзья, дорогіе, кр
ные. Гляну, гляну—страсть какое разоренье, а у ме
только духъ бодрѣй.» Тутъ, въ этомъ описаніи бодро
своего героя, авторъ, быть можетъ, доходитъ до идеа
заціи. Она же какъ будто слышится и въ томъ,
сказано про Ивана еще въ первой главѣ: «земли о
можетъ имѣть столько, сколько понадобится». Ка
понять это, если денегъ у него болѣе нѣтъ, а и
9-й главы видно, что земельки Босымъ достал
немного? Но дѣло, конечно, не въ одной землѣ, ес
изъ «Деревенскаго дневника» нашего автора видно,
служившая предметомъ для его наблюденій малоземе

ная деревня Самарской губерніи можетъ пользоваться большимъ благосостояніемъ, чѣмъ надѣленные землею въ избыткѣ жители двухъ сосѣднихъ деревень, только однимъ разгуломъ и отличающіеся. Но нашъ авторъ съ другой стороны въ цѣломъ рядѣ очерковъ, написанныхъ въ разное время, убѣдительно намъ показываетъ, что крайнее малоземеліе, при малѣйшихъ случайностяхъ въ крестьянской жизни, невольно заставляетъ искать заработка помимо земли, а что такой заработокъ часто соединенъ съ соблазномъ, во всякомъ же случаѣ вноситъ разладъ и въ семью и въ общину. «Едва ли я ошибусь много, замѣчаетъ авторъ, если скажу, что *община* наша только потому, какъ говорится, устояла и только до тѣхъ поръ, прибавимъ мы, устоитъ, покуда членовъ ея соединяетъ *однородность* земледѣльческаго труда, *однородность* надеждъ, плановъ, волненій, заботъ, *однородность* семейныхъ и общественныхъ обязанностей». Дѣло въ томъ, что «*земледѣльческій* трудъ, жизнь въ *земледѣльческихъ* условіяхъ и, главное, *земледѣльческое* міросозерцаніе умягчаютъ рѣзкости всевозможныхъ неравенствъ просто потому, что дѣлаютъ ихъ всѣмъ понятными... Богачи всегда бывали въ деревнѣ, но чѣмъ и какимъ образомъ могъ разбогатѣть крестьянинъ-земледѣлецъ и — какъ и отчего могъ обѣднѣть? Только землей, только отъ земли. *Онъ не виноватъ*, что у него *уродило*, а у сосѣда нѣтъ; *не виноватъ* онъ, что онъ силенъ, что онъ уменъ, что его семья подобралась молодецъ къ молодцу... Тутъ счастіе, талантъ, удача; но счастіе, талантъ, удача—*земледѣльческіе*, точно также, какъ у сосѣда *земледѣльческая* неудача, отсутствіе силы

въ земледѣліи, отсутствіе согласія семьи, нужной для земледѣлія»... Совсѣмъ другое дѣло для крестьянина «такое богатство сосѣда, которое онъ, во-первыхъ, *не можетъ понять*, и которое, во-вторыхъ, возрастаетъ вопреки всему его міросозерцанію, безъ труда, безъ дарованія, безъ счастья, безъ ума»... «Какіе же эти общинники теперь, спрашиваетъ нашъ авторъ въ другой главѣ, если сосѣдъ наживаетъ на сосѣдѣ капиталъ, скромную деревенскую копѣечку на копѣечку?.. Если сосѣдъ, взявшій мой овесъ по существующей цѣнѣ и перепродавшій его... весною за двойную цѣну, явно наживается на мой счетъ, кладетъ въ карманъ мои деньги, беретъ ихъ за овесъ, моими руками добытый?»

Авторъ приводитъ слова Герцена: «есть *нѣчто* въ нашей жизни, что̀ выше общины и государственнаго могущества; это *нѣчто трудно уловить словами и еще труднѣе указать пальцемъ*. Я говорю о *той* внутренней, *не вполнѣ сознательной силѣ*, которая столь *чудесно* сохранила Русскій народъ подъ игомъ Монгольскихъ ордъ и Нѣмецкой бюрократіи... сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ Русскаго крестьянина подъ унизительнымъ гнетомъ крѣпостного состоянія, о той наконецъ силѣ и вѣрѣ въ себя, которая жива въ нашей груди. *Эта сила* ненарушимо сберегла Русскій народъ... *внѣ всякихъ формъ и противъ всякихъ формъ.*» Какая же это таинственная сила? спрашиваетъ Успенскій, и сводитъ ее къ той же *тягѣ земной*, такъ легко переносимой Микулою Селяниновичемъ. «Въ строѣ жизни, повинующейся законамъ природы, говоритъ нашъ авторъ, несомнѣнна и особенно плѣни-

тельна та *правда* (не *справедливость)*, которою освѣщена въ ней ничтожнѣйшая жизненная подробность.... Лжи, въ смыслѣ выдумки, хитрости здѣсь нѣтъ,—е, перехитришь ни земли, ни вѣтра, ни солнца, ни дождя,— а стало быть нѣтъ ея и во всемъ жизненномъ обиходѣ. Въ этомъ отсутствіи лжи, проникающемъ собою всѣ, повидимому, жестокія явленія народной жизни, и есть то наше Русское счастье, и есть основаніе той вѣры въ себя, о которой говоритъ Герценъ». Авторъ особенно цѣнитъ тутъ ту *цѣльность*, которой не видитъ онъ у Русскаго культурнаго человѣка.

Но вѣдь особаго рода *цѣльность* усматриваетъ онъ и на Западѣ, и усматриваетъ тамъ вездѣ, но это еще не заставляетъ его мириться со всѣми явленіями Западной жизни. Видно, *цѣльность* сама по себѣ еще далеко не все, что́ надобно человѣку. Съ другой стороны въ нѣкоторыхъ своихъ очеркахъ усматриваетъ же авторъ отсутствіе этой цѣльности и въ Русскомъ крестьянинѣ, выставляя его поступающимъ вопреки своему собственному убѣжденію.

Замѣтимъ, что, говоря о *правдѣ* народной жизни, онъ самъ же дѣлаетъ оговорку, что правду не слѣдуетъ смѣшивать тутъ со *справедливостью*. Потому то и пришлось ему далѣе упомянуть и о *жестокихъ* явленіяхъ народной жизни, чрезъ которыя проходитъ то-же господствующее *отсутствіе лжи*...

Не потому ли, что *правда* не есть *справедливость* и не мѣшаетъ *жестокимъ* явленіямъ въ жизни, автору и пришлось сознаться: «можетъ случиться, какъ это и случилось, что сила таинственная и чудесная, сохра-

няющая неприкосновенность человѣка подъ палками и кнутами, вдругъ не сохранитъ его подъ ударомъ рубля. Вѣдь вотъ, все вытерпѣлъ народъ — и Татарщину, и Нѣметчину, а сталъ его жидъ донимать рублемъ—не вытерпѣлъ! Ну-ка что̀ нибудь еще случится непредвидѣнное?»

Вотъ вѣдь идеальный крестьянинъ Иванъ Ермолаевичъ, а автору пришлось прислушаться къ рыданіямъ его невѣстки, вызваннымъ тѣмъ, что «ее «съѣли» въ семьѣ Ивана Ермолаевича и ждутъ не дождуться, когда она протянетъ ноги, чтобы взять другую бабу, здоровую.» Мало того, болѣзнь теленка болѣе безпокоитъ Ивана Ермолаевича, чѣмъ страданія собственнаго ребенка. Что-жь удивительнаго, ежели, съ наступленіемъ зимней поры, онъ безъ малѣйшей жалости разсчитываетъ пастуха изъ отставныхъ солдатъ, которому остается затѣмъ уйти куда глаза глядятъ. Изумляясь земледѣльческому труду, можно сказать, даже преклоняясь предъ нимъ, автору пришлось однако сознаться: «я рѣшительно не вижу, чтобы въ глубинѣ этого труда и въ его конечномъ результатѣ лежала мысль и забота о человѣкѣ, въ размѣрахъ, достойныхъ этого неустаннаго труда.» Потому-то и приходится ему замѣчать, даже при неприкосновенности земледѣльческаго строя, извѣстную «опустошенность народной души,» которая и приводитъ къ «безсердечной общественной невнимательности.» При существованіи ея «черезъ десять лѣтъ (много-много) Ивану Ермолаевичу и ему подобнымъ нельзя будетъ жить на свѣтѣ; они воспроизведутъ къ тому времени два новыя сословія, которыя будутъ тѣ-

снить и напирать на «крестьянство» съ двухъ сторонъ: сверху будетъ насѣдать представитель «третьяго сословія» (т. е. овладѣвшій *силой рубля)*, а снизу тотъ же братъ мужикъ, но уже представитель четвертаго сословія, которое неминуемо должно быть, если будетъ третье. Этотъ представитель четвертаго деревенскаго сословія, непремѣнно будетъ *золъ* и неумолимъ въ мщеніи, а мстить онъ будетъ за то, что очутится въ дуракахъ... Если въ Русской деревнѣ завелся хроническій нищій, то только существованіемъ какого-то *неумнаго мѣста* въ организаціи общественной»,—т. е. въ той ея сторонѣ, которая даже не зависитъ отъ постороннихъ вторженій, а зависитъ только отъ крайностей взгляда на человѣка, какъ *на рабочую силу.* Выходитъ, что это *неумное мѣсто* еще вѣрнѣе назвать, какъ оно и выходитъ нерѣдко у автора, *безсердечнымъ мѣстомъ* ..

Къ концу своей характеристики «крестьянина и крестьянскаго труда», авторъ начинаетъ винить себя— т. е. вообще культурнаго человѣка: «тотъ самый мужикъ, котораго привели къ разоренію мои же пріемы, основанные на нерѣшимости открыть секретъ... этотъ самый продуктъ моей безсовѣстности и безсердечія, этотъ самый стыдъ мой, олицетворенный стыдъ, дѣлается предметомъ гимна,—мною же и идеализируется вмѣстѣ съ его трудомъ, съ поэзіею этого труда и т. д. Секретъ, которымъ я владѣю и которымъ не дѣлюсь съ Иваномъ Ермолаевичемъ, это то, что, не смотря ни на какіе «пинжаки» и «кадрили», знаю же я, что «цивилизація выдумала и массу добра для человѣчества», знаю да не говорю, въ чемъ это добро заключается. «Я валю къ

его ногамъ *всю* цивилизацію всѣхъ временъ и народовъ, и изображаю ее такъ, что иначе, какъ «паршивою» наименовать ее невозможно»... «Я умышленно старался его затмить, разстроить, не давалъ ему ни науки, ни земли, ни малѣйшаго облегченья въ трудѣ... Такъ какъ я былъ трусливъ, своекорыстенъ и нерѣшителенъ, то Иванъ Ермолаевичъ и накажетъ меня тѣмъ, что покроетъ землю ужь не кроткимъ, а сердитымъ нищенствомъ и внесетъ въ общество (вмѣсто утаеваемой мною цивилизаціи) тѣ взгляды на человѣческія отношенія, которые мы съ нимъ примѣняли къ пастуху.»

Не таковы были представители той старинной интеллигенціи, которая во «Власти Земли» характеризуется авторомъ съ особеннымъ увлеченіемъ, и величается «народной». Вдумываясь внимательно въ эту «Власть Земли», мы неизбѣжно замѣчаемъ, что авторъ, изумляясь ей и во многомъ превознося ее, однакоже далекъ отъ слѣпого предъ ней преклоненія. Земля любитъ Микулу, толкуетъ онъ намъ, т. е. она «забрала его въ руки безъ остатка... но за то онъ и не отвѣчаетъ ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, который убилъ у него лошадь, и—невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступить къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти,—онъ опять не виноватъ,—не родила земля, не чѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену—и невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, лѣнива, черезъ нее стали дѣла, стала работа...»

«Хоть въ природѣ и все правда, поясняетъ авторъ,

но не все въ ней ласково. Посмотрите какой веселый лѣсъ на горѣ, какіе тамъ веселые «птичекъ хоры»... Но вслушайтесь повнимательнѣе, разберитесь въ этихъ, доносящихся оттуда звукахъ, и вы догадаетесь, что все тамъ «поѣдаетъ другъ друга каждую минуту», правда, что «каждую же минуту все родится вновь». Перейдите къ человѣческому обществу, «поставленному къ природѣ въ слишкомъ неразрывную зависимость и неимѣющему возможности жить иначе, какъ по тѣмъ же самымъ законамъ, какъ живетъ лѣсъ», — и тогда «этотъ пискъ и вопль человѣческаго существа» будетъ «ужасенъ и жалокъ необыкновенно, потому что тутъ жестокое другъ надъ другомъ совершаютъ люди, а не звѣри, не безсловесныя животныя.» Ну, какъ же тутъ не найтись человѣку, который бы, не вынося этого, закричалъ: «что вы дѣлаете, проклятые?!»

«Человѣкъ съ такимъ чувствомъ, съ такимъ сердцемъ, говоритъ авторъ, и есть, какъ мы думаемъ, человѣкъ интеллигентный. И такой человѣкъ всегда былъ, присутствовалъ въ самой средѣ *народной массы*, работалъ въ ней не во имя звѣриной, лѣсной правды, а во имя высшей божеской справедливости». Эта «народная интеллигенція не походила ни на «государственнаго мужа, написавшаго 100 томовъ разныхъ полезныхъ законовъ» ни на «поэта, бряцающаго на казенной лирѣ», ни на «нынѣшнихъ становыхъ, предсѣдателей, урядниковъ, гласныхъ»,—не походила, потому что типъ ея былъ типъ *Божія угодника*. Но это не тотъ угодникъ, который, угождая Богу, забирается въ дебрь или взлѣзетъ на столбъ и стоитъ на немъ 30 лѣтъ. Нѣтъ, *нашъ народ-*

ный угодникъ хоть и отказывается отъ мірскихъ заботъ, но живетъ только для міра. Онъ мірской работникъ онъ постоянно въ толпѣ, въ народѣ, и не разглагольствуетъ, а дѣлаетъ въ самомъ дѣлѣ дѣло.» Однимъ изъ позднѣйшихъ представителей этого типа былъ святитель Тихонъ Задонскій; онъ «покупалъ мужикамъ сѣмена, земледѣльческія орудія, хлопоталъ за нихъ въ тюрьмахъ. На эти расходы онъ истратилъ все, что́ имѣлъ, даже перину продалъ, часы карманные тоже продалъ, послѣ его смерти осталось денегъ 14 р. 50 к. ассигнаціями.» Онъ «не могъ довольствоваться важнымъ саномъ архіерея и правомъ поучать стадо словесно,— онъ добровольно отказался отъ архіерейской каѳедры и удалился въ монастырь, гдѣ ему представлялась возможность вмѣшаться своею дѣятельною любовью въ народную среду». Но и самое его служеніе міру *словомъ* было своего рода *дѣломъ*. «Явное *хищеніе* есть то, говоритъ онъ, когда кто чужую вещь насильно отнимаетъ, какъ то дѣлаютъ 1) разбойники, кои насильно другого грабятъ, 2) властелины, которые у своихъ подчиненныхъ, а сильные у немощныхъ отнимаютъ нагло имѣніе, домъ, землю...» Да такое *слово* было *дѣломъ*, потому что такъ говорить могъ только тотъ, кто никого небоялся, потому что ему, какъ и первымъ Христіанамъ, ничего не было нужно, кромѣ того царствія Божія, которое было уже въ нихъ самихъ и которое они старались распространять въ мірѣ...

«Наши интеллигентные прародители, справедливо говоритъ Успенскій, были такъ умны, знали, должно быть, такъ хорошо народную массу, что для общаго блага

ввели въ нее «Христіанство», т. е. взяли *послѣднее слово*, и притомъ *самое лучшее*, до чего дожило человѣчество вѣками страданій. И слово это, проповѣдывавшее высшую степень самоотреченія, они не побоялись внесть въ среду людей, которые «звѣринымъ обычаемъ живяху». Общество, жившее такимъ образомъ, очевидно, не было приготовлено къ воспріятію такой непривычной новизны; ему бы, если вѣрить теперешнимъ нашимъ руководителямъ, надобно было пережить весь смрадъ разваливавшагося міра, прежде чѣмъ вкусить Христіанство.» Между тѣмъ наши прародители чуткимъ сердцемъ принялись прямо за него—«притомъ въ самомъ строгомъ, неподслащенномъ видѣ...» А теперь, безпощадно замѣчаетъ Успенскій, «мы роемся въ какомъ-то старомъ національномъ и Европейскомъ хламѣ, въ національныхъ и Европейскихъ мусорныхъ ямахъ».

Да, много было конечно «мусорныхъ ямъ« и въ нашей старинѣ. Много ихъ и сохранилось не только у насъ, но и на Западѣ, если, какъ напоминаетъ нашъ авторъ, «его святѣйшество папа Левъ XIII взялъ, для поддержанія репутаціи новооткрытаго банка Бонту, акцій на 50,000 франковъ» и, улучивъ минуту ихъ наибольшаго возвышенія, «продалъ ихъ, и, такимъ образомъ ни за что, ни про что, положилъ себѣ въ столъ 250,000 франковъ чистаго барыша». Между тѣмъ «въ тотъ же самый день, когда было напечатано это радостное извѣстіе... было разсказано такое произшествіе: недалеко отъ Кёнигсберга, въ одной Прусской деревнѣ, крестьянка зарѣзала своихъ пятерыхъ дѣтей и сама хотѣла утопиться... Ее вытащили». Оказалось на повѣрку, что

«она *выбилась изъ силъ* на работѣ... Мужъ ея, изувѣченный въ послѣднюю славную Франко-Прусскую войну, не могъ работать... вся тяжесть труда лежала на ней...» Нашъ авторъ не ограничивается однимъ, какъ привыкли у насъ говорить на газетномъ жаргонѣ, констатированіемъ факта, онъ толкуетъ его, говоря: «разъ существуютъ воззрѣнія, вслѣдствіе которыхъ поступокъ папы не считается предосудительнымъ... а поступокъ женщины, доведенной до отчаянія, считается *преступленіемъ*» (замѣтимъ, что ужь такая-то преступница несомнѣнно заслуживала бы быть названною *несчастною*, какъ называются у Русскаго народа и преступники вообще), «разъ все это есть и все это связано между собою рядомъ какихъ-то, признаваемыхъ за неизбѣжное, оправдательныхъ доводовъ, не трудно видѣть, что общество это таитъ во глубинѣ своей смертельную язву огромной неправды». Да, и неправда эта заранѣе обличена появленіемъ на землѣ Христіанства, такую неправду постоянно чувствовали въ человѣческихъ отношеніяхъ представители той интеллигенціи, которая стала у насъ *народною*. Ее-то и вызываетъ къ намъ снова на помощь нашъ авторъ, ее-то и ждетъ-не-дождется онъ для *народной школы*. Но вѣдь и самъ народъ, не безъ основанія недовольный тѣмъ, что въ существующей школѣ говорятъ всего болѣе о «козѣ да объ овцѣ», добивается настоящей, какъ онъ привыкъ понимать, *строгой школы*. Нашъ авторъ объясняетъ это тѣмъ, что если въ старой школѣ, той, которая основывалась на «псалтырѣ», «учеба была тиранская», то «касалась она не разсчета, не выгоды... а проповѣдывала ту са-

мую «строгость» къ самому себѣ и къ ближнимъ, которая нужна и важна въ человѣческомъ обществѣ, вопреки той правдѣ дремучаго лѣса, въ которой оно обязано жить... Ничего практически полезнаго... эта школа не давала; напротивъ, она учила прямо необходимости въ нѣкоторыхъ житейскихъ дѣлахъ нести убытокъ— подавать нищимъ, убогимъ, жертвовать на храмъ». Все это, конечно, должно бы было примѣняться теперь къ разнообразнымъ условіямъ нашего времени, требующимъ того, чтобы говорилось «о трудѣ и капиталѣ», чтобы «проклятые вопросы были поставлены въ школьномъ ученьѣ на должную высоту». «На чемъ, же спрашиваетъ авторъ, основано невозможно жестокое гоненіе всякой малѣйшей попытки показать народу рядъ огромныхъ общественныхъ задачъ, которыя, къ тому же, рѣшать, такъ или иначе, будетъ этотъ же самый народъ?» А вѣдь люди, конечно, нашлись бы, если и теперь, при существующихъ условіяхъ школы, «есть много превосходныхъ учителей, умѣющихъ возбудить къ себѣ страстную и искреннюю любовь учениковъ» — «элементъ, въ средѣ котораго, поясняетъ Успенскій, почти исключительно пріютились остатки изчезающей изъ обращенія идеи самопожертвованія и служенія на пользу ближнему». Нужно бы только не *трусить* этихъ людей, т. е. не болѣть боязнію мысли, боязнію слова, въ той же мысли, въ томъ же словѣ—видѣть и врачеваніе отъ праздной и вредной мысли, отъ злыхъ и кровавыхъ дѣлъ!

«Дайте землю», говоритъ авторъ въ послѣдней главѣ своей «Власти земли»,—«но это не все», прибавляетъ онъ; дайте и интеллигенцію, а главное не удивляйтесь,

не пугайтесь того типа интеллигентнаго человѣка, который даетъ сама жизнь, который долженъ быть такимъ, а не инымъ, потому что такова страна и люди, среди которыхъ онъ живетъ... Въ Россіи народныя мужицкія черты должны быть первенствующими, и намъ не стоило бы большого труда разыскать ихъ въ сферахъ, повидимому, весьма отдаленныхъ отъ сохи...»

Такимъ-то сознательнымъ исповѣдникомъ «народнаго, мужицкаго» является тотъ Протасовъ-Пигасовъ, о которомъ говорится въ очеркахъ «*Безъ своей воли*» и «*Изъ разговоровъ съ пріятелями*», служащихъ какъ бы приложеніемъ къ «Власти земли». Между тѣмъ, повидимому, этотъ человѣкъ недоволенъ народомъ, т. е. *безсознательностью* самыхъ лучшихъ сторонъ его жизни. «Нашъ народъ, жалуется онъ, живетъ безъ собственной воли, безъ собственной мысли, живетъ, только подчиняясь волѣ своего труда»... «Какъ созданіе Божіе только, онъ превосходенъ, красивъ и совершененъ, вотъ какъ это развѣсистое дерево, этотъ кленъ; но если маленькій топоръ валитъ огромный дубъ, который валится и падаетъ безъ ропота, то и нашего крестьянина, который *сейчасъ* служитъ образцомъ человѣческаго совершенства и всесторонняго развитія, также валитъ всякая малость, которая бьетъ его по могучему и великолѣпно организованному тѣлу... Рубль, свистъ машины,—и, глядишь, образчикъ будущаго развалился прахомъ...»

Остановившись на извѣстіи о томъ, что гдѣ-то близъ Люттиха «рабочій можетъ имѣть столъ, какой пожелаетъ, за отдѣльнымъ столикомъ и сохраняетъ такимъ обра-

зомъ свою полную независимость,» — Протасовъ соглашается, что «столикъ — мизерность; но онъ — *побѣда*, онъ—завоеваніе, вершковое, но непремѣнно завоеваніе въ пользу справедливости». У нашего крестьянина — *община*, которой возвращенья желаютъ, до смысла которой додумываются теперь передовые умы Запада. Но «община родилась сама, какъ цвѣтокъ, какъ жеребенокъ, какъ галка. Хвалиться нашей общиной, артелью, утверждаетъ Протасовъ,—тоже, что̀ приписывать самому себѣ и своему уму геніальное устройство собственнаго своего тѣла, своей нервной и кровеносной системы...» Между тѣмъ несомнѣнно, по мнѣнію того же Протасова, что «Европейскіе порядки обличены Европейской мыслью во всемъ своемъ объемѣ. Тутъ ужь нечего заимствовать для образца. Что̀ такое этотъ «отдѣльный столикъ», это послѣднее слово завоеванной независимости? Сунься-ка я съ нимъ къ мужику, — онъ меня осмѣетъ на смерть... впечатлѣніе столика такъ мизерно, что благообразіе крестьянскаго дома (т. е. конечно, дома—семьи, дома—трудового согласія, семейнаго міра) выростаетъ до размѣровъ огромнаго значенія»... Но что же дѣлать нашему интеллигентному человѣку? «Ему надо только знать, что мы обладаемъ образцовѣйшими типами существованія человѣческаго... Надо всѣмъ своимъ существомъ убѣдиться въ этомъ и дѣлать все, чтобы онъ превратился въ сознательно образцовѣйшій и пересталъ быть образцовымъ безсознательно.» Дѣло интеллигенціи, такимъ образомъ, убѣдиться въ благообразныхъ формахъ крестьянской жизни и затѣмъ возбудить и въ самомъ крестьянинѣ созна-

тельное отношеніе къ этимъ благообразнымъ формамъ. При этомъ, замѣтимъ мимоходомъ, Протасовъ утверждаетъ: «вопреки увѣреніямъ Достоевскаго, который въ одномъ изъ своихъ романовъ сказалъ, что «благообразіе» вообще встрѣчается на Руси въ привилегированномъ сословіи, я думаю, какъ разъ наоборотъ: оно все цѣликомъ сосредоточено въ нашемъ крестьянствѣ». Мы, признаться, не помнимъ, въ какомъ такомъ изъ своихъ романовъ Достоевскій могъ бы сказать это; если же это имъ и сказано, то благообразіе должно пониматься тутъ, разумѣется, въ иномъ смыслѣ. Тотъ же Протасовъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ про Достоевскаго вообще: «всѣ многочисленные герои его произведеній трактуютъ исключительно свое *я*, свой эгоизмъ и что же, принялъ ли когда-нибудь этотъ эгоизмъ въ его произведеніяхъ хотя какое-либо обличье симпатичности, какой нибудь широты, какого-нибудь благообразія?» Мы опять-таки думаемъ, что это можетъ относиться только къ привилегированнымъ личностямъ у Достоевскаго; главные же герои его—не они, а различные «бѣдные люди», вовсе не отличающіеся эгоизмомъ, а потому и отличающіеся душевнымъ благообразіемъ. Вообще мы убѣждены, что Достоевскій былъ не за привилегированныхъ, а за такъ называемыхъ «лучшихъ людей», т. е. за то же самое, что̀ Успенскій называетъ интеллигенціей, т. е. настоящей народной интеллигенціей. Между Протасовымъ и Достоевскимъ, очевидно, замѣтны какія-то недоразумѣнія, хотя Протасовъ и умный человѣкъ.

Своего рода приложеніемъ къ «Власти Земли» служитъ отрывокъ изъ деревенскаго дневника: «*Не слу-*

чись». Это собственно два разсказа—про внезапное преступленіе Ивана Горюнова и про то невольное убійство отца, которое, разстроивъ всю семью, подвергло несчастнаго сына всѣмъ соблазнамъ городской жизни, а сестру его обратило—дико и страшно вымолвить—въ деревенскую «проститутку». Къ этому, по единству основной темы, можно бы присоединить и служащій заключеніемъ «Власти Земли» разсказъ объ извозчикѣ Гаврилѣ, въ жизни котораго такое роковое значеніе получила позабытая у него въ саняхъ какой-то барыней муфта и портмоне. Но подъ тѣмъ же заглавіемъ «Не случись» могъ бы появиться и разсказъ «*Пришло на память*». Въ самомъ дѣлѣ, весь интересъ тутъ въ ловкой, выносливой и строгой къ себѣ и другимъ работницѣ Варварѣ, а *не случись* этой Варварѣ понравиться своему хозяину Демьяну Ильичу, а женѣ хозяина изъ ревности разобидѣть Варвару продѣлкой «изъ-за дрожжей», да не подвернись Варварѣ какой-то совѣтчикъ изъ отставныхъ солдатъ, Варвару не потянуло бы вслѣдъ за столькими другими въ Питеръ, и не подверглась бы она тамъ извѣстнымъ соблазнамъ столичной жизни.

Замѣтимъ, что личности этихъ разсказовъ Успенскаго выступаютъ передъ нами, какъ живыя, и несомнѣнно принадлежатъ—особенно же Варвара—къ художественнымъ произведеніямъ нашего автора.

Но намъ опять-таки особенно дорогъ выводъ его изъ всѣхъ разсказываемыхъ имъ случаевъ: «на то на свѣтѣ и живутъ умные и ученые люди, чтобы неученый человѣкъ не пропадалъ понапрасну».

Въ отдѣльномъ изданіи «Власти Земли» (Москва

1883 г.) въ видѣ приложенія помѣщены были еще: «*Старики*» и «*Равненіе подъ одно*» (причемъ въ примѣчаніи къ послѣднему очерку сказано, что это «продолженіе и окончаніе разсказа «Старики»). Ни того, ни другого, къ сожалѣнію, не оказывается въ полномъ изданіи сочиненій Г. И. Успенскаго.

Подъ заглавіемъ «*Старики*» мы встрѣчаемся со стариковскими толками о томъ, что въ крѣпостную пору болѣе входили въ хозяйственное положеніе крестьянина, теперь же о немъ и подумать некому, потому что у него и начальства-то нѣтъ; и много всякаго начальства на первый взглядъ, черезчуръ много, и никакого начальства нѣтъ, какъ присмотрѣться поближе. Такой взглядъ разъясняется словами стараго бурмистра—идеализатора своей крѣпостной поры: «нешто можно назвать начальниками хотя бы—будемъ говорить примѣромъ—старосту или старшину теперешняго? Положимъ, что дѣйствительно цѣпь ему дана, или медаль какая... онъ и наказываетъ, и сѣчетъ... Ну, а коль скоро мы ежели коснемся до корня, то и оказывается—онъ не начальникъ, а живорѣзъ, больше ничего». Не виня новаго начальства собственно въ томъ, что оно сѣчетъ неплательщиковъ, старикъ пояснительно прибавляетъ: «а не самъ ли ты, негодный, виноватъ, что у него денегъ-то нѣтъ?!... Коли по мнѣ, такъ я тоже бы дралъ,—это вѣрно, только дралъ бы я его не въ то время, какъ онъ разорился, а въ то время, какъ онъ овесъ-то продавалъ... Иные начальники-то сами, безсовѣстные, овесъ-то этотъ купятъ, а потомъ дерутъ... Нѣтъ, самого бы его надобно растянуть да поддымить!...

Ежели онъ начальникъ, онъ должóнъ смотрѣть, чтобы у мужика было съ чего взять»... «Мы, конечно, сознается старый бурмистръ, люди стараго закону, въ новыхъ порядкахъ мы не указчики... По-нашему... мы глядѣли на народъ хозяйственнѣе. Конечно, чтò мы хотѣли отъ народа—больше ничего, что пользы для себя, но только мы понимали, что ежели мы разоримъ, разстроимъ человѣка, такъ и пользы намъ не будетъ»... «А что ихъ тамъ тьмы темъ начальниковъ, заключаетъ онъ, такъ это мы даже и понимать не можемъ. Для нашего крестьянскаго житія кто не хозяинъ, тотъ и не начальникъ.»

Но въ словахъ старика проглядываетъ еще и другой намекъ—на *бездушное* отношеніе къ мужику всякаго новаго начальства; намекъ, вложенный въ уста представителю крѣпостной поры и звучащій тѣмъ горшимъ упрекомъ намъ, съумѣвшимъ, *благодаря исполнителямъ, обездушить* самыя лучшія начинанія новаго времени.

Что въ самомъ старикѣ, представителѣ той мрачной поры, много, однако, душевнаго свѣта, это видно изъ его предложенія своему собесѣднику: «пойдемъ-ка, я покажу тебѣ нашу Царицу Небесную, кресть-ян-скую!.. Какъ было у насъ житье крестьянское, на крестьянскомъ положеніи, то и горести у насъ были свои крестьянскія, и съ горестями съ этими мы къ Заступницѣ шли... И она, Матушка, тоже была наша—крестьянская... Да и по сейчасъ есть». И онъ указалъ въ старинной монастырской церковкѣ икону, гдѣ Божія Матерь была изображена съ веретеномъ. А отъ нея онъ повелъ своего собесѣдника къ ихъ угоднику—«тоже

крестьянскому заступнику». Съ нимъ можно было, впрочемъ, познакомиться уже по изображенію на монастырскихъ воротахъ: крестьянинъ, съ цѣпями на рукахъ и на ногахъ, а наверху надпись: «святитель освобождаетъ земледѣльца» (запертаго помѣщикомъ въ темную, какъ поясняетъ старый бурмистръ). Собесѣдники вошли въ церковь. «Тамъ шла панихида—угодникъ лежитъ подъ спудомъ—и громкимъ голосомъ читалась написанная въ похвалу угодника молитва». Ужь ради этой молитвы невольно жалѣешь, что очеркъ не вошелъ въ собраніе сочиненій. «*Обидимымъ вдовамъ* скорый въ бѣдахъ заступниче, говорится въ молитвѣ. *Сиротамъ* напутствуемымъ милостивый въ напастяхъ заступниче! *Заключеннымъ въ темницѣ* бѣдствующимъ утѣшительный попечителю! *Тающимъ гладомъ* милосердый питателю! *Скитающимся убогимъ* странникамъ страннолюбивый страннопріимче! О заступниче *бѣдныхъ* дерзновенный!... Услыши насъ»... Многозначительны и тѣ слова, какія говоритъ въ заключеніе всего старый бурмистръ: «а и нонче, черезъ четыреста лѣтъ, нѣтъ намъ другого заступника».

Слѣдующій очеркъ, также не вошедшій въ собраніе сочиненій, связанъ со взглядомъ бурмистра тѣми диковинами крестьянской жизни, о которыхъ тутъ говорится и которыя положительно подходятъ къ деревенской *таблицѣ умноженія*, упоминаемой въ «Деревенскомъ Дневникѣ» *). Очеркъ озаглавленъ «*Равненіе подъ одно*»,

*) То, напримѣръ, что при голодѣ, хлѣбъ можетъ падать въ цѣнѣ, что при перевѣсѣ смертности и пустующей землѣ предпринимаются переселенія и т. п.

а объясненіемъ такого заглавія можетъ служить въ немъ слѣдующая жалоба на то, что «сложность переживаемой народомъ минуты,—сложность, слѣдовательно, лежащихъ на васъ, образованномъ человѣкѣ, обязанностей (если вы хотите не даромъ ѣсть хлѣбъ) умаляется и какъ-то обезцвѣчивается, во-первыхъ, слишкомъ несоразмѣрными надеждами, возлагаемыми на общинное землевладѣніе, и, во-вторыхъ, слишкомъ обезцвѣченнымъ представленіемъ понятія «народъ». Въ послѣднее время, поясняетъ авторъ, слово «народъ» стало представляться такою же почти коллективною однородностью, какъ, напримѣръ, «овесъ» или «сѣно», или «икра»... Народъ—это что-то односмысленное, какая-то масса, гдѣ всѣ частицы и во всемъ совершенно равны другъ другу, одиосмысленны, одинаковы даже въ нравственныхъ побужденіяхъ. Разсказываютъ (авторъ прибѣгаетъ къ примѣру, разительному до дикости), что міряне прибили мірянина, который помогъ вдовѣ въ то время, какъ всѣ прочіе его сосѣди не могли этого сдѣлать. «Не смѣй дѣлать добро, когда мы всѣ не можемъ сдѣлать того же!» Если это правда, то коллективная однородность деревни, замѣчаетъ Успенскій, хуже Аракчеевскихъ казармъ.» Авторъ однако вполнѣ признаетъ психологическое основаніе такого увлеченія *общиною* и *народомъ*. «Я понимаю, говоритъ онъ, что въ жизни образованнаго человѣка бываютъ минуты отчаянія, когда онъ теряетъ голову, теряетъ вѣру, и радъ ухватиться «за что нибудь», радъ... что можно влюбиться въ какую нибудь жердь, какъ памятникъ справедливѣйшаго мірского поступка» (авторъ разумѣетъ межевые знаки, уста-

навливаемые общиною). Но онъ предостерегаетъ отъ вреднаго фантазированія на основаніи общиннаго землевладѣнія. «Правильность и точность межевыхъ отношеній, жалуется онъ, переносится въ отношенія нравственныя; равненіе *средствъ* къ жизни продолжается, совершенно произвольно, и въ сферѣ нравственныхъ отношеній до того, что, будто бы, нельзя помочь вдовѣ отдѣльно отъ «міра», и что «за такія дѣла» міръ колотитъ благотворителя до полусмерти». Онъ показываетъ, съ другой стороны, что, не смотря на общину, хлѣбъ во время голода можетъ быть припрятываемъ тѣми, у кого онъ запасенъ въ изобиліи, что въ одной и той же деревнѣ одни могутъ наѣдаться до отвала, между тѣмъ какъ другіе умираютъ съ голоду. Удерживая отъ преувеличенныхъ надеждъ на *земельную общину*, онъ, надо думать, считаетъ ихъ вредными и потому, что на нихъ мы готовы сложить все и затѣмъ опочить непробуднымъ сномъ, закоснѣть въ своемъ гражданскомъ бездушіи; что похвальба этой *общиной*, пріятно щекочущая въ насъ, конечно уже не отвлеченный патріотизмъ, а живую народническую жилку, не даетъ намъ понять, что, въ силу множества историческихъ обстоятельствъ, наша община давно обездушена, какъ и столь многое вокругъ насъ, какъ и мы сами. Вся задача-то въ томъ, чтобы найти средства—и въ себѣ, и вокругъ себя—опять пробудить *душу живу*! *)

*) Въ отдѣльномъ изданіи «Власти земли» былъ и еще одинъ особый очеркъ «*Овцы бъзъ пастыря*». Онъ не представляетъ особенной связи съ основнымъ содержаніемъ книги, въ немъ только повторяются нѣкоторые мотивы ранней поры Успенскаго и онъ

Дастъ ли намъ эти средства такъ называемая «цивилизація»? Мы очень сожалѣемъ о томъ, что авторъ выпустилъ изъ собранія своихъ сочиненій тѣ строки, которыми заключалась «Власть земли» въ отдѣльномъ изданіи. Въ строкахъ этихъ отчасти давался отвѣтъ на такой вопросъ: «Цивилизація приходитъ къ намъ, говорилось тамъ, не та, которая бы заступалась за Каратаевыхъ,—она не облегчаетъ ихъ труда, не заполоняетъ досуга работой мысли и пробужденіемъ духовныхъ силъ, а помогаетъ хищнику, облегчая его хищничество помощью Европейскихъ «оборотовъ», съ которыми деревенскій хищникъ начинаетъ знакомиться и къ которымъ получаетъ огромный аппетитъ. Все—для него, и ничего—для Платона *). Не удивляйтесь же, что человѣкъ сердца и правды, очутившись между этихъ двухъ типовъ, изъ которыхъ личность одного доведена до ничтожества, а другого — раздута до невозможныхъ размѣровъ, теряетъ голову. Не гоните же изъ народной среды потребность въ Божеской правдѣ между людьми—она нужна народу такъ же, какъ и земля. Не забывайте, что хоть и не скоро, но Богъ непремѣнно скажетъ *правду*.»

какъ-то оборванъ, а потому мы и не особенно жалѣемъ объ отсутствіи его въ собраніи сочиненій Успенскаго.

*) Т. е. Платона Каратаева—извѣстный крестьянскій типъ Л. Н. Толстого въ «Войнѣ и Мирѣ.

VIII.

Скучающая публика.—Черезъ пень колоду.—Очерки.

Протасовъ, какъ мы видѣли, сѣтуетъ, что тѣ здоровыя стороны народной жизни, которыя въ ней несомнѣнно имѣются, не смотря ни на что, завися прямо отъ *земли*, отъ ея власти надъ человѣкомъ, остаются несознанными самимъ народомъ; чтобы сдѣлать эти блага народной жизни сознательными, онъ призываетъ на помощь народу интеллигенцію. Въ одномъ изъ очерковъ, входящихъ въ составъ «*Скучающей публики*», оказывается, что эти блага становятся наконецъ сознательными и для самого народа. Это очеркъ 4-ый—«*Трудами рукъ своихъ*». Нашъ авторъ касается тутъ рукописи, написанной однимъ крестьяниномъ-сектантомъ—какъ потомъ оказалось—Бондаревымъ (на немъ основывался Л. Н. Толстой въ статьѣ о «хлѣбномъ трудѣ», предназначавшейся для «Русской Старины». Большія извлеченія изъ рукописи Бондарева напечатаны въ «Русскомъ Дѣлѣ»).

Говоря о «скучающей публикѣ»—т. е. интеллигентномъ обществѣ—Г. И. Успенскій объясняетъ разъѣдающую его скуку (она же—и безвыходная *тоска*) тѣмъ, что во-1-хъ этому обществу умственно дѣлать нечего, такъ какъ подается ему «все готовое», а во-2-хъ тѣмъ, что «все это готовое—не ладно, не гармонично, не чисто и вообще «не такъ» (отсюда уже прямо *тоска*). «Въ самомъ дѣлѣ, спрашиваетъ нашъ авторъ, можно ли быть искреннимъ въ уваженіи и интересѣ къ оригиналу тѣхъ сторонъ жизни, которыя онъ обреченъ

только копировать? Оригиналъ этотъ—Европейская жизнь, какъ всякій видитъ, не блещетъ особенно пріятными сторонами и рѣшительно никого не можетъ убѣдить, что оригиналъ этотъ—совершенство и послѣднее слово.» Авторъ видитъ въ Европейскомъ обществѣ крѣпко сплоченныя, отдѣльныя группы людей, неимѣющія между собою *ничего общаго*. «И вотъ этимъ, *ничего неимѣющимъ общаго* между собою группамъ людей, на которыя распалось Европейское общество, предстоитъ выбрать правительство, блюдущее интересы *всѣхъ*. хотя у *всѣхъ* интересы совершенно различные: у капиталиста не тѣ, что̀ у рабочаго, у духовенства не тѣ, что̀ у республиканцевъ, у земледѣльца не тѣ, что̀ у землевладѣльцевъ...» Въ глубинѣ этихъ готовыхъ формъ жизни, подаваемыхъ съ чужого стола Русскому интеллигентному обществу, «томится, по выраженію нашего автора, личность человѣческая, томится человѣкъ, на умаленіи котораго и зиждется «порядокъ» теперешняго «общества». Желая указать на тотъ идеалъ настоящей человѣческой жизни, въ достиженіи котораго и долженъ заключаться прямой прогрессъ, авторъ приводитъ слѣдующія слова Н. К. Михайловскаго: «прогрессъ есть *постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами недѣлимаго и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми*». Прямое совпаденіе съ такимъ взглядомъ замѣчаетъ нашъ авторъ у Л. Н. Толстого; для него вѣдь идеальный человѣкъ—это тотъ, который «*самъ удовлетворяетъ всѣмъ своимъ потребностямъ*», т. е. въ одно и то же время—и *слуга*, и *хозяинъ*, какъ

выразился поэтъ-прасолъ. Но вѣдь это и есть идеалъ Русскаго народа, доводимый до сознательности въ рукописи сектанта-крестьянина Бондарева.

«Недаромъ, замѣчаетъ Успенскій, послѣ освобожденія крестьянъ явилось такое обиліе сектъ, весь смыслъ которыхъ изчерпывается стремленіемъ *тѣ же самыя земледѣльческія формы жизни*, *тѣ же самые семейные и общинные порядки*, которые мы постоянно и безъ сектантства встрѣчаемъ въ народѣ, но которые не основаны на *убѣжденіи* въ чистотѣ и правдѣ этихъ порядковъ, а только на томъ, что такъ хорошо *велитъ* жить *хорошій трудъ*, передѣлать и перестроить на основаніи именно *правоты*, *справедливости*, *чистоты* и праведности *этихъ формъ жизни*, т. е. сдѣлать ихъ крѣпкими и незыблемыми, чего невоспитанная совѣсть огромной массы Русскаго народа не можетъ сдѣлать до тѣхъ поръ, пока чье-нибудь слово неразрывно съ дѣломъ не возьмутся за эту молчащую струну народной души».

Секты въ смыслѣ стремленія какъ нибудь опредѣлить, точно выразить смутно чуемую правду, существовали, разумѣется, и до освобожденія крестьянъ, потому что та струна народной души, о которой говоритъ нашъ авторъ, никогда не переставала звучать и потому что давно уже, подъ напоромъ всякой казенщины, перестали за нее браться люди, типомъ которыхъ оставался еще сто лѣтъ тому назадъ св. Тихонъ Задонскій. Самъ авторъ, озаглавивъ послѣднюю главу своей «Скучающей публики» «*Нѣсколько часовъ среди сектантовъ*», коснулся въ ней такихъ прежнихъ сектъ, успѣвшихъ уже уклониться отъ чистоты первоначальнаго идеала,

но глубоко чувствующихъ однако такое уклоненіе, а потому и не теряющихъ сознательнаго стремленія къ идеалу. Самъ Бондаревъ—изъ Молоканъ; духомъ этой, конечно, не вчерашней секты пропитана и его рукопись: «Трудолюбіе или торжество земледѣльца», основывающаяся на текстѣ: «въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой». Законъ этотъ установленъ вѣковѣчно для всего человѣчества; однажды только, по оригинальному замѣчанію Бондарева, Богъ изъ жалости и состраданія нарушилъ его, *поманилъ* (т. е. побаловалъ) *Евреевъ сорокъ лѣтъ въ пустынѣ манною*, т. е. покормилъ ихъ даровымъ хлѣбомъ и тѣмъ самымъ испортилъ ихъ навсегда; отъ этой-то ошибки—*они по сей день вонъ какіе работники*» (т. е въ ироническомъ смыслѣ, такъ какъ *пріобрѣтательство*—на взглядъ Бондарева, разумѣется, *не работа*). «Во всей жизни человѣческой, продолжаетъ Бондаревъ, два главнѣйшихъ дѣла или двѣ обязанности одного и того же достоинства и цѣны: *первая*—рождать на свѣтъ людей, *вторая*—вырабатывать имъ хлѣбъ...» При такого рода, природою же установленномъ, раздѣленіи труда, никакое дальнѣйшее раздѣленіе въ земледѣльческой жизни не существуетъ: жена является постоянно участницею въ трудахъ мужа, дѣти уже съ раннихъ лѣтъ принимаютъ участіе во всѣхъ трудахъ родителей. Но Бондаревъ налегаетъ на то, что *особенность* призванія женщины соблюдается свято—отъ «жены, живущей въ убогой хижинѣ» и до «царицы, на престолѣ сидящей, на главѣ корону имѣющей», тогда какъ заповѣдь о *трудѣ въ потѣ лица* далеко не соблюдается всею мужскою половиною рода че-

ловѣческаго. Между тѣмъ, это также *первородный* законъ, «влекущій человѣка ко всѣмъ трудамъ, которымъ голова есть хлѣбный трудъ. Этотъ трудъ и по житейскому дороже всѣхъ драгоцѣнностей, и по духовному—спасительнѣй всѣхъ заповѣдей и постановленій, потому что въ немъ законъ *первородный*, въ немъ защита отъ пролитія человѣческой крови и слезъ!»—Глубокое убѣжденіе въ вѣрности подобнаго ученія простирается у Бондарева такъ далеко, что онъ допрашиваетъ свое отечество, совѣтуя ему, въ свою очередь, допросить тѣхъ *старшихъ*, которые обучили его совершенно другому: «Виновата ли ты, Россія, говоритъ онъ, въ спроверженіи этого (т. е. первороднаго) закона? Затѣмъ прошу тебя, Россія, передѣлай всѣ мои вопросы на лучшій ладъ, съ добавленіемъ, но безъ отнятія смысла ихъ, и представь государствамъ, которыя старше тебя отъ рожденія: ты отъ нихъ законъ и вѣру получила и приняла; они обязаны тебя законнымъ отвѣтомъ удовлетворить — *какъ* они сначала писали законъ и *съ какою цѣлію* отъ очей всего міра этотъ законъ скрыли? Они—старики, они—учители твои, а твоя, Россія, хата съ краю; ты по этому великому и уму непостижимому дѣлу *за людьми человѣкъ*.»

Но нашъ авторъ беретъ изъ рукописи сектанта-крестьянина лишь самое лучшее, что́ въ ней есть. Въ текстѣ ея, напечатанномъ въ «Русскомъ Дѣлѣ», попадается и такого рода странность, какъ предложеніе «скучающей публикѣ» (мы употребляемъ выраженіе Успенскаго) хотя одинъ мѣсяцъ въ году посвящать хлѣбному труду—съ предоставленіемъ ей права все осталь-

ное время проводить *по-своему* — хотя бы даже и въ *роскоши*. Въ такой снисходительности слышится намъ нарушеніе *духа* первороднаго закона, съ соблюденіемъ только его *буквы*. Такимъ образомъ *хлѣбный трудъ* обращается только въ какую-то *епитимью*, возлагаемую на баръ, съ предоставленіемъ имъ затѣмъ *разрѣшенія на вся*. Нашъ геніальный писатель-графъ (котораго фотографіи въ видѣ пахаря распространились повсюду), работая въ полѣ, конечно, не одинъ только мѣсяцъ въ году, идетъ, стало быть, далѣе требованій Бондарева; но и онъ, конечно, ошибается, если думаетъ этимъ своимъ трудомъ, даже и съ присовокупленіемъ къ нему своего, въ другомъ родѣ богатырскаго, умственнаго труда, расквитаться съ искони трудящимся людомъ за всю ту обстановку, въ которой онъ выросъ, за всю вѣковую жизнь своихъ предковъ и жившихъ, и умиравшихъ въ барствѣ, наконецъ за все то, что́ онъ терпитъ вокругъ себя, въ своей собственной семьѣ, во имя «непротивленія злу.» *Духъ* первороднаго закона заключается въ томъ, чтобы не мирволить ничему, выросшему на почвѣ той жизни, которая обходится безъ труда, чтобы не считать присочиненіемъ къ евангелію того *вервія*, которымъ вооружился Христосъ для изгнанія *торжниковъ* изъ храма, чтобы ради *кротости* не забывать *святаго гнѣва*,— этого *меча*, принесеннаго въ міръ Христомъ, для возстановленія первороднаго закона, закона *труда*, а не *торга*. *Духъ* первороднаго закона въ томъ, чтобы всякій трудящійся снискивалъ трудомъ своимъ неотъемлемое право не на одинъ *вещественный хлѣбъ*— а торжникъ не оставляютъ вѣдь и его въ рукахъ тру-

дящихся—но и *хлѣбъ духовный*, ибо если въ ветхомъ завѣтѣ сказано: «въ *потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой*», то Христосъ прибавилъ къ этому: «*не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ*».

Такъ, по-нашему разумѣнію, понимаетъ дѣло и Успенскій. Онъ прямо и искренно говоритъ, что «не пошелъ бы пахать», а если онъ при этомъ говоритъ: «увы!» то хорошо понимаетъ, что вѣдь не въ этомъ однако же дѣло. Зато онъ приходитъ въ справедливое негодованіе отъ статьи, когда-то появившейся въ Аксаковскомъ «Днѣ», и въ сущности шедшей въ разрѣзъ съ основнымъ направленіемъ этого журнала, статьи, принадлежащей какому-то концессіонерному вдохновенію, съ которымъ волею судебъ (именно *судебъ*—т. е. матеріальныхъ обстоятельствъ редактора) приходилось имѣть дѣло «Москвѣ» и «Москвичу». Авторъ приводитъ пространныя выписки изъ этой печальной статьи (заимствуя ихъ впрочемъ у г. Михайловскаго), въ которой, болѣе или менѣе, говорится, будто «соловьиный свистъ желѣзныхъ дорогъ и фабричныхъ паровиковъ — тоже, что̀ богатырскій посвистъ Ильи Муромца, что отъ свиста этого проснется Русскій духъ богатырскій». На самомъ дѣлѣ, какъ извѣстно, свистъ этотъ слишкомъ часто оказывается свистомъ Соловья-разбойника, хотя это и не мѣшало увлекаться имъ *на первыхъ порахъ* съ одной стороны Бѣлинскому, съ другой—одному изъ героевъ Успенскаго: Михаилу Ивановичу. Ни то, ни другое не помѣшало Успенскому, имѣя въ виду сущность направленія «Дня», спросить: «что̀ же тутъ Русскаго, народнаго, что̀ же тутъ «не Европа?» Богатырскимъ языкомъ здѣсь изложено,

что желаютъ учредить совершенно Европейское финансовое предпріятіе, съ гуслярнымъ звономъ говорится о рабочихъ рукахъ, т. е. о нарожденіи той самой заработной платы, которая не можетъ появиться на Руси иначе, какъ вслѣдствіе упадка народнаго благосостоянія».

Нашъ авторъ въ своихъ благородныхъ «мечтаніяхъ» (такъ озаглавлена глава V) имѣетъ въ виду ту «утопію какую-нибудь», на какую указывалъ ему какой-то его собесѣдникъ на пароходѣ, говоря: «давайте-ка эту фантазію, образчикъ — проснемся! право проснемся!» — А вѣдь эта утопія такъ проста, такъ *осуществима*— именно *на Руси-то и осуществима.* — Все дѣло-то въ въ томъ, чтобы, какъ говоритъ Успенскій, «земцы и думцы повѣрили рѣчамъ автора рукописи о «торжествѣ земледѣльца» и, увѣровавъ, что «первородный законъ» повелѣваетъ человѣку жить трудами рукъ своихъ, изцѣляя этими трудами отъ всѣхъ золъ, язвъ и неправдъ, на которыя обреченъ неуравновѣшенный, искалѣченный человѣкъ,... каждогодно прикупали земель, которыхъ множество кругомъ, да каждогодно бы селили на нихъ всѣхъ, кто хочетъ ѣсть, а капиталу имѣетъ только руки свои»—т. е. хотя бы и не изъ крестьянъ, а изъ «людей всѣхъ сословій, ощущающихъ въ себѣ силы взяться за плугъ». «Почему, убійственно логично допрашиваетъ Успенскій, нужно усовершенствовать тюрьму, вводить въ ней вентиляціи, гигіену, а современемъ и электрическое освѣщеніе, а нельзя покупать землю и селить на ней всѣхъ, кто не по собственной волѣ родился на свѣтъ и не по собственной прихоти хочетъ ѣсть? Нельзя ли опять-таки хоть попробовать поступить съ человѣ-

чествомъ такимъ тихимъ и внимательнымъ манеромъ?» Вѣдь, пожалуй, такимъ-то образомъ и подготовилась бы постепенно возможность такихъ порядковъ, при которыхъ можно бы было наконецъ и не строить тюремъ, которыя, какъ ихъ ни совершенствуй, все же останутся *мертвыми домами*! Вѣдь тогда бы - особенно если бы, заодно *съ землей*, позаботиться и о настоящей, желанной и самому народу, *строгой школѣ*, прекратилось бы и «опустошенье народной души», да и у самихъ «земцевъ и думцевъ явилась бы подъ ногами твердая почва и въ ослабленной душѣ явилась бы несокрушимая сила».

Если все это—*утопія*, то вѣдь только потому, что хотя «мысли у насъ есть, но чтобы *изъ нихъ сдѣлать жизнь*, мы этого не умѣемъ», т. е. «не смѣемъ и отвыкли смѣть, и наши благороднѣйшія мысли, вслѣдствіе коренного нашего недуга, не осуществляются логически». Да, только бы немножко *смѣлости* мысли, немножко *самосознанія*—т. е. того, что̀ нашъ авторъ съумѣлъ подмѣтить у участниковъ нелѣпѣйшаго, въ сущности, Бакинскаго «побоища» (глава VI). Эта смѣлость и самосознаніе—проявленіе живой души—сказались тутъ у толпы, вслѣдствіе враждебнаго столкновенія съ тѣми инородческими стихіями, которыхъ такъ много на югѣ Россіи. Въ толпѣ этой авторъ подслушалъ одно основное желаніе сказать во всеуслышаніе: «не смѣй!» А это «не смѣй!» замѣчаетъ авторъ, «во сто разъ больше относится къ нравственнымъ потребностямъ личности, чѣмъ къ матеріальнымъ невзгодамъ. Евреи, по словамъ крестьянина, все суютъ рубли въ руки мужику, а ненависть къ нимъ возбуждается потому, что этотъ

рубль они суютъ съ тѣмъ, чтобы соблазнить человѣка работать въ воскресенье, т. е. испортить его совѣсть, заставить польститься на деньги и не пойти къ обѣднѣ, т. е. не выполнить того, что́ нужно для души». Отталкивающимъ образомъ дѣйствуетъ на Русскаго испуганное «вай, вай» взрослаго человѣка съ бородой, этого пріобрѣтателя, который «блудливъ какъ кошка и трусливъ какъ заяцъ». Это даетъ «нашимъ возможность почувствовать въ себѣ много достоинства и сравненіе съ Евреемъ сдѣлать въ пользу себя. Старческія черты много пережившаго племени ненавистны нашей, если не молодости, то «вѣчной новизнѣ» существованія». Съ другой стороны «франтоватый, гордый, напыщенный, но основанный на рабствѣ, на кинжалѣ, на заточеніи и молчаніи цѣлой половины человѣчества—женщинъ Мусульманскій міръ представляется Россійскому человѣку еще болѣе неправильнымъ, негармоничнымъ, несправедливымъ, чѣмъ міръ Еврейскій, угнетенный какимъ-то разочарованіемъ, боящійся засмѣяться, дрожащій надъ копейкой, воющій въ синагогѣ, воющій такъ, точно его ведутъ на смертную казнь». Авторъ изъ этого заключаетъ, что «Евреи и Татары дѣйствуютъ такимъ образомъ на Русскаго человѣка подагогически. Это «наглядное обученіе» ознакомляетъ съ самимъ собою. Русскій человѣкъ волнуется здѣсь не какъ чернь, голытьба, грабитель и т. д., а какъ человѣкъ, чувствующій, *ощущающій свою личность*, которую онъ начинаетъ находить вовсе не такой завалящей, какъ къ этому пріучили его «случайности» крестьянской обстановки». Но это невольно наводитъ автора на мысль опять-таки о на-

родной школѣ—такой, которая бы, «основанная на *сознательномъ* уваженіи благообразія формъ народной жизни, могла переработать безсознательное, по вѣтру случайностей колеблемое благообразіе въ благообразіе крѣпкое, сознательное, укрѣпленное сознаніемъ важности и справедливости этихъ благообразныхъ формъ».

Такая школа могла бы осмыслить, одухотворить народную массу и дать ей окончательное право противопоставить себя другой, только снаружи благообразной массѣ, той, которую авторъ картинно обзываетъ «обжорнымъ рядомъ, толпою «своего удовольствія», солидной дѣйствительности», и про которую онъ замѣчаетъ, что «она огромна и первая лѣзетъ въ глаза». Но увы! Теперь эта-то толпа и переманиваетъ къ себѣ многихъ изъ народной толпы, болѣе податливыхъ на счетъ совѣсти,—и вотъ изъ нихъ-то̀ вырабатываются такіе герои «своего удовольствія», какъ купецъ Таракановъ, являющійся въ 1-й и во 2-й главѣ «*Скучающей публики*» и въ своемъ «разливанномъ морѣ» теряющій и всякое, вполнѣ для него возможное, благообразіе наружное. Но и этотъ Таракановъ—ярко и цѣлостно обрисованный нашимъ авторомъ—какъ онъ ни дикъ въ своемъ безшабашномъ раздольи, какъ ни простодушенъ—опять по дикости — въ своемъ откровенничаньи на счетъ этого раздолья, далеко не лишенъ сознанія—какъ всей своей гадости, такъ и ея причинъ. «Ничего, кромѣ побоевъ, съ дѣтскихъ дней не было, говоритъ онъ; окончательно только получили отъ родителей одинъ испугъ, больше ничего». «Батюшка протопопъ, толкуетъ онъ далѣе, распространяетъ такое мнѣніе, что, молъ, въ прежнія времена

«страхъ Господень знали, Бога боялись.» Таракановъ, на основаніи своего воспитанія, держится другого мнѣнія. «Мы всѣ больше чорта опасаемся. Ежели-бъ чорта не боялись, такъ отъ нашего брата совсѣмъ бы житья не было, потому Бога мы плохо знаемъ.... Завсегда, кажется, какъ себя началъ помнить, не иначе объ себѣ думать могъ и полагать, какъ о самой послѣдней твари. При родителѣ по крайности зналъ одно: молчишь, какъ зарѣзанный, и мыслей даже нѣтъ; ну, а теперича мыслей тоже нѣту никакихъ, а врешь съ утра до ночи». Обобщеніе, до котораго доходитъ при этомъ Таракановъ, касаясь на только себѣ подобныхъ, но и всѣхъ вообще, можетъ быть, и не совсѣмъ посильно для его кругозора, но само по себѣ справедливо. «Какъ пошла леформа, говоритъ онъ, такъ и стали врать направо и налѣво, отъ утренней зари до закату, пока на четвереньках до воротъ не доползешь. Все только врешь и больше ничего... Ну вотъ въ этакомъ-то видѣ и всунулись мы рыломъ въ леформы... во всѣхъ мы натоптали, насрамотили». Онъ однакоже понимаетъ, что не всѣ же кругомъ только подлецы, да олухи. «Не то, что̀ честные, говоритъ онъ, а, прямо сказать, ангельскіе есть люди; ну, только мы имъ такихъ поступковъ не дозволяемъ.... У насъ по всей линіи требуется человѣкъ съ гнилью, чтобы совѣсть у него была подмоченная».... Но Таракановъ все-таки чувствуетъ, что это неладно; съ одной стороны какъ бы хвастаясь тѣмъ, что мы дескать «все слопаемъ», передъ фельдшеромъ Кузьмичевымъ (въ своемъ родѣ щеголяющимъ наоборотъ заботами объ общемъ благѣ и выражающимъ свои въ

сущности хорошія мысли какимъ-то нелѣпымъ, полукнижнымъ жаргономъ),—съ другой стороны онъ тутъ же и восхищается тою затрещиной, которую получилъ отъ одного изъ «слопанныхъ» имъ существъ—Аграфены, присоединившей къ такому дѣйствію и пояснительное слово: «а кто насъ по этакой-то дорогѣ пущаетъ?» Тотъ же Таракановъ кончаетъ свой гнусный разсказъ добрымъ пожеланіемъ: «пущай бы ужь поскорѣе весь этотъ смрадъ сквозь землю провалился.... Надо-таки дать дыханіе и справедливому человѣку, ей-Богу, право!»... «За что-жь хорошій-то человѣкъ... долженъ страдать?... Хоть бы взять Аграфену... Что̀-жь, такъ и должны онѣ всѣ пропадать?»

Если таковы окончательныя замѣчанія Тараканова, то фельдшеръ Кузмичовъ, со своимъ ораторствованьемъ передъ нимъ объ общей пользѣ, можно сказать, не совсѣмъ же идетъ въ разладъ съ текстомъ: «не мечите бисера передъ свиньями». Самъ фельдшеръ былъ въ свое время нравственно призрѣнъ молодымъ бариномъ, бывшимъ студентомъ, у котораго, когда онъ водворился на своемъ родномъ пепелищѣ—въ когда-то крѣпостной деревнѣ, не было уже «ни псарни, ни этого кнутовья, ни чтобы на счетъ бабъ, ничего этого.» Нравственно призрѣнный, Кузьмичовъ оказался не только полукнижнымъ краснобаемъ, но и, повидимому, недурнымъ человѣкомъ. Но если изъ университетовъ такимъ образомъ выходятъ не одни теоретическіе либералы-чиновники, или же «пріемлющіе всуе имя Божіе» брехунцы-карманники, но и такіе въ самомъ дѣлѣ новые люди, какъ нравственно призрѣвшій Кузьмичова, то почему же ав-

торъ, приводя въ примѣръ Калифорнійскаго профессора Анри Джоржа, полагаетъ, что у насъ никогда не слыхивали съ каѳедры чего-либо похожаго на обращенье этого послѣдняго къ студентамъ: «надѣюсь, что вы ощущали уже стремленіе высочайшаго *честолюбія*—желаніе быть полезными своему времени и поколѣнію, чтобы потомки, идущіе за вами, были хотя нѣсколько, хотя немного умнѣе, лучше и жили счастливѣе васъ.» На нашихъ каѳедрахъ, надо думать, только не раздавалось при этомъ слово *честолюбіе*, которое, правду сказать, и не совсѣмъ тутъ умѣстно, потому что все-таки слишкомъ *лично*, намекаетъ на хотя бы и *высшую*, но все же таки *награду*, — но и у насъ могла раздаваться подобная рѣчь, хотя при этомъ и приходилось «пужаться»—не того, что передъ профессоромъ (какъ въ Калифорніи) «дѣти представителей капитала», а коечего другого, не менѣе внушительнаго. Да, и у насъ, не смотря ни на что́, могли систематически вторить съ каѳедры словамъ нашего автора о всемъ томъ, чѣмъ было заглушено наше общественное движеніе послѣ освобожденья крестьянъ: «Звѣрище, пасть и дурь одолѣли это движеніе, заняли всѣ тѣ пункты общественной службы, гдѣ должны проявиться именно только движенія благороднаго сердца. *Эта* крамола орудовала передъ глазами нашими лѣтъ двадцать пять, и обществу не легче оттого, что теперь звѣрище является на скамьѣ подсудимыхъ». Да и съ каѳедры положительно у насъ говорилось, что именно *эту*-то крамолу и надобно вырвать съ корнемъ, а затѣмъ уже изчезнетъ сама собой и *другая*.

*

Въ одномъ изъ очерковъ и разсказовъ, носящихъ у нашего автора общее заглавіе «*Черезъ пень колоду*» (заглавіе довольно случайное и непридающее никакой особенной связи четыремъ совершенно отдѣльнымъ статьямъ),—та же нравственная крамола представляется въ особомъ своемъ видоизмѣненіи — Рыковщинѣ, которая, по словамъ автора, есть «не только банковый грабежъ, а злоумышленное истребленіе малѣйшихъ благородныхъ и справедливыхъ побужденій въ человѣкѣ... Малѣйшее проявленіе *души*... претило, бѣсновало зоологическій инстинктъ Рыковщины... Теперь, благодаря суду, стало ужь ясно, что такое эта Рыковщина и какая у нея нравственная подоплека, облекаемая, смотря по обстоятельствамъ, какъ заячья шкура, то патріотизмомъ, то смиреніемъ, то волчьимъ оскаливаніемъ зубовъ,—теперь ясно, что Рыковщина есть обманъ по отношенію къ существующему порядку. Рыковщина отучила насъ всѣхъ—и мужиковъ, и не мужиковъ—вѣрить, что не только нужно, а даже можно думать и дѣлать хорошо; какъ дважды два доказала, что по хорошему поступать страшно, опасно и не время.»

Все это говорится нашимъ авторомъ въ видѣ вступленья къ разсказу «*Захотѣлъ быть умнѣй отца*», разсказу, въ которомъ жалоба бывшаго волостного старшины Муравушкина на своего сына вытекаетъ изъ желанія простонароднаго кляузника поживиться тремя стами рублей сыновняго заработка, ради чего и возводится на сына обвиненіе даже въ «сицилизмѣ».

Въ другомъ очеркѣ: «*Хорошій Русскій типъ*» самому повѣствованію, очень даже несложному, предше-

ствуетъ обширное вступленіе, посвященное «нравственному испугу души» современнаго человѣка, испугу, который увозятъ съ собою изъ столицы «хозяйственный крестьянинъ», самъ авторъ и одна пожилая дама (съ другой же стороны, по замѣчанію автора, тотъ же испугъ и обратно привозится въ столицу изъ деревень). «Хозяйственный крестьянинъ», жалующійся на городское паденіе нравовъ, которымъ заражается и ихъ братъ, неотчетливо и полусознательно поддакиваетъ, т. е. не столько умомъ, сколько сердцемъ, не во всемъ для него вразумительнымъ словамъ пожилой дамы, дѣдъ которой былъ Французъ, оставшійся въ Россіи послѣ 12 года. Въ этомъ смыслѣ пожилая дама напоминаетъ намъ у нашего же автора «иностранца» (въ «Трехъ письмахъ»), только про даму уже положительно сказано, что къ наслѣдственной живости ея Французской породы «Русская жизнь» среди работящей молодежи прибавила «какую-то серьезную простоту обращенія». Но это, конечно, не та современная «простота», не тѣ «какіе-то ужасно простые взгляды мужчинъ и женщинъ», на которые тутъ же и жалуется почтенная старушка, говоря, что «ихъ встрѣчаешь на каждомъ шагу». «Это, говоритъ она, «не разгулъ и не развратъ», кидавшіеся въ глаза во время «ухарской полосы послѣ освобожденія крестьянъ». Теперь, по словамъ ея, нѣтъ и «прожиганія», а «именно одна ужасная простота, безстрастная простота отношеній этихъ массъ мужчинъ къ этимъ массамъ женщинъ. Скверно, нехорошо, скучно, обидно, но это не развратъ. Нѣтъ! Это именно — паденіе души.» Далѣе слѣдуютъ тѣ слова, которыя приведены нами во главѣ этой кни-

ги. «Во времяпровожденіи массы мужчинъ и женщинъ вы именно и видите, что души-то нѣтъ, (потому что она, подобно часамъ, остановилась), что стрѣлка не движется, а неизмѣнно, и днемъ, и ночью, и во всѣ часы стоитъ на одномъ мѣстѣ: полночь!» Далѣе, почтенная дама, переводя это уже на свой спеціально женскій, нѣсколько *Французскій* языкъ, а также и на языкъ былой поры, замѣчаетъ, что потому-то и «нѣтъ теперь интереснаго мужчины». «Всякой женщинѣ, утверждаетъ она, чтобы любить... надобно навѣрное знать, что въ самой глубинѣ глубинъ души человѣка есть такое хорошее, передъ чѣмъ можно благоговѣть... или хоть бояться этого святого, находимаго въ сердцѣ любимаго человѣка... «Лѣтъ 40—50 тому назадъ, вспоминаетъ она былое... надо всѣмъ царила солдатчина, бурбонство, солдатская вытяжка... Но все это не исключало возможности «святого», спрятаннаго въ глубинѣ сердца, спрятаннаго за этимъ на всѣ пуговицы застегнутымъ мундиромъ»... Все это, конечно, оттого, что оставались люди, которые, застегнутые на всѣ пуговицы не только въ буквальномъ, но и въ иносказательномъ смыслѣ, и еще и неслыхавшіе про Некрасова, говорили, однако, гдѣ-то тамъ у себя втихомолку:

Лишь Богъ помогъ бы Русской груди
Дохнуть пошире, повольнѣй,—
Докажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней!

Это были, быть можетъ, послѣдніе могикане идеализма 20-хъ годовъ, продолжавшаго сказываться и въ 40-хъ, производившихъ конечно не однихъ только слад-

корѣчивыхъ «колпаковъ», упоминаемыхъ Достоевскимъ. Люди эти отчасти еще принимали участіе въ оказавшемся наконецъ возможнымъ общественномъ движеніи... Но они мало-по-малу сошли со сцены... На смѣну имъ выступили другіе, ненавидѣвшіе все господствовавшее въ прежнюю пору, но не чуявшіе, что они «того же поля ягода». Это были уже не прежніе *идеалисты*, а прямо наоборотъ—*матеріалисты* (тогда какъ разъ, на бѣду, матеріализмъ вѣдь и былъ самоновѣйшимъ Европейскимъ вѣяніемъ). Они видѣли спасеніе въ томъ, чтобы распространить въ массѣ, такъ сказать, демократизировать то разливанное море, которое было до тѣхъ поръ принадлежностью людей привилегированныхъ. Явилась та умственная мелкота, которой казалось, что все дѣло въ томъ, чтобы всячески разстегнуться, надѣть у всѣхъ на глазахъ халатъ, защеголять разгильдяйствомъ,—чтобы то же разгильдяйство, ту же развинченность и до неприличія доводимую непринужденность перенести и во внутренній міръ, чтобы сдѣлать его верховнымъ закономъ—*перешагнуть, расходиться* и *распуститься*... Все это, конечно, наступило не сразу—не сразу прежній практическій матеріализмъ привилегированныхъ классовъ, лицемѣрно замаскировываемый внѣшнимъ, такъ сказать, обрядовымъ идеализмомъ, замѣнился совсѣмъ уже не лицемѣрнымъ, а нагло откровеннымъ возведеніемъ матеріализма въ теорію, уже не хранимую про себя, а расточительно-безкорыстно сообщаемую всѣмъ и каждому... «Бывало, вспоминаетъ старушка про начало поры нашего возрожденія, идетъ ли молодой человѣкъ въ университетъ или въ инженеры, или по

какой-нибудь профессіи, то и дѣло слышишь, что профессія эта ему нужна не для профессіи и не для карьеры, а напротивъ карьера, деньги, слова нужны для чего-то другого, именно для какого-то святого дѣла.... И такъ долго шло. Потомъ какъ-то все это спуталось, размякло, скомкалось, осрамилось, озлилось,—словомъ, все это какъ-то пропало...» Остается, правда, по ея же словамъ, цѣлое «обиліе общественныхъ толковъ и пересудовъ», слышится «нескончаемый говоръ о милiонахъ вопросовъ и Русскихъ, и общечеловѣческихъ», но во всемъ-то этомъ «ничего настоящаго». Отчего оно такъ, этого не объясняетъ старушка, но это достаточно ясно изъ всей совокупности сочиненій Успенскаго.

Но вотъ онъ, наконецъ, обращается въ томъ же очеркѣ къ «*хорошему Русскому типу*», о которомъ ему напомнила одна книжка. Жутко было бы ему безъ этой книжки встрѣтить новый годъ, оставаясь подъ впечатлѣніемъ словъ старушки: «уважать-то васъ, господа, стало не за что́!» Книжка посвящена одному изъ лучшихъ представителей того типа, къ которому не разъ сочувственно возвращался авторъ, типа «Русскаго святого человѣка»,—она посвящена Стефану Пермскому. Книжка эта, по мнѣнію Успенскаго, написана плохо, точно съ намѣреніемъ «елико возможно обезцвѣтить оригинальность изображаемаго лица.» Это, быть можетъ, объясняется тѣмъ, что уже и древнее житіе Стефана, написанное младшимъ его современникомъ, въ силу Византійскихъ литературныхъ пріемовъ, къ несчастію нами усвоенныхъ, было также безцвѣтно. Но личность сама по себѣ была такъ характерна, что уцѣлѣла для насъ,

не смотря ни на какія литературныя обезцвѣчиванія во вкусѣ тѣхъ житій, которыя, какъ говоритъ нашъ авторъ, «обыкновенно всячески стараются вогнать біографію лица въ шаблонныя рамки житія святого, полагая, что чѣмъ менѣе въ этой біографіи будетъ отведено мѣста практическому, реальному дѣлу на землѣ, сдѣланному святымъ человѣкомъ, и чѣмъ болѣе напротивъ будетъ сказано о постной пищѣ, ночномъ бдѣніи и искушеніи бѣса, тѣмъ жизнь чтимаго человѣка будетъ святѣе»... Стефанъ Пермскій, какъ извѣстно, это—просвѣтитель Зырянъ, изобрѣтшій для нихъ письмена, подобно тому, какъ Кириллъ и Меѳодій ихъ изобрѣли для Славянъ. Но то, что́ наши первоучители сдѣлали для цѣлаго великаго племени, то Стефанъ сдѣлалъ для народа *маленькаго*, сдѣлалъ для того, чтобы и его сознательно надѣлить Христовой общедоступной правдой, а, надѣливъ его этой правдой, сталъ его оборонять отъ всякой внѣшней неправды—начиная съ корыстолюбивой неправды жреца ихъ Пима и кончая столь же корыстолюбивой неправдой Московскихъ приказныхъ людей. «Великій князь, цитуетъ нашъ авторъ свою книжку, далъ большую власть Стефану во всемъ краѣ, и съ тѣхъ поръ никто уже не смѣлъ притѣснять бѣдныхъ Зырянъ,—знали, что у нихъ есть защитникъ; народъ сталъ пользоваться своими заработками.» Да, хорошо бы и въ наше время, «не таить въ самихъ себѣ свое знаніе, свое сокровище, какъ говоритъ Успенскій, а отдавать его тѣмъ, кто не обладаетъ имъ, расточать его въ толпѣ, тратить на общую пользу, не вводить во искушеніе, а выводить изъ него». Хорошо бы и властямъ

въ наше время не препятствовать всему такому, а на противъ содѣйствовать...

Въ слѣдующемъ за тѣмъ разсказѣ о «пинжакѣ и чортѣ» авторъ касается нѣкоторыхъ «ошибочекъ», которыя въ самомъ началѣ крестьянской реформы допущены были относительно крестьянской земли, и тѣхъ «добрыхъ баръ», которые все-таки были же и сами совѣтовали народу, какъ поправить эти ошибочки, «укупивъ ту или другую землю обчествомъ», совѣтовали потому, что душа ихъ требовала этого. Но не слушались подобныхъ совѣтчиковъ, потому что слушались другихъ—были вѣдь и такіе,—что «и такъ молъ отойдетъ; такъ чего-жь ее укупать-то»,—слушались потому, что такіе толки приходились по нраву, хотя принесли, какъ потомъ оказалось, вредъ, потому что только мазали по губамъ, сулили «журавля въ небѣ». Но если внимательно вдуматься въ то, что̀ говоритъ Успенскій и про тѣхъ совѣтчиковъ, которые прямо глядѣли на дѣло, вѣрное предпочитали невѣрному, то окажется, что и у нихъ оказывалась такая примѣсь, которою подрывалась сила даваемаго ими совѣта. Михалъ Михайлычъ былъ все же такой баринъ, который сорилъ деньги зря, «одной Марфушкѣ передавалъ пожалуй болѣе 500 серебромъ... а свою законную жену зря покинулъ». Другой же, дававшій добрый совѣтъ, «слова-то какія говорилъ при всемъ честномъ народѣ? Вѣдь за эти слова-то... четвертовать его, идола, и то мало! Нешто можетъ человѣкъ, который понимаетъ Бога, да чтобъ онъ посмѣлъ?... А вѣдь онъ что! Вѣдь онъ даже»... Ясно, что было у такихъ совѣтчиковъ кое-что и не

кстати, не къ дѣлу, лишнее, способное подорвать уваженіе къ нимъ, а стало быть и вниманіе къ ихъ совѣтамъ. Не таковы были представители той старой интеллигенціи, которая и стала зато «народною».

Собственно разсказъ о «пинжакѣ и чортѣ», какъ можно догадаться и по заглавію, доказываетъ въ лицахъ, до какой степени внѣшніе пріемы такъ называемой «городской или трактирной цивилизаціи» способны уживаться съ самыми допотопными предразсудками, съ самыми грубыми нравами.

Много тонкаго народно-психологическаго анализа представляетъ въ этомъ разсказѣ типъ Афимьи—этой, взрощенной въ крѣпостномъ страхѣ и крѣпостной безнравственности, народной знахархи, прослывшей чѣмъ-то въ родѣ блаженной, вслѣдствіе приключившагося съ нею четырехдневнаго обмиранія. Дѣло въ томъ, что ей въ это время видѣлись чудные сны—не только объ адскихъ мукахъ, но и о райскомъ блаженствѣ. Это послѣднее представилось ей даже не въ тѣхъ только черезчуръ общихъ и мало опредѣленныхъ чертахъ, въ какихъ, по замѣчанію Тяпушкина, обыкновенно представляется рай въ воображеньи людей, живущихъ подъ вѣчнымъ страхомъ. Воображенье Афимьи напротивъ нарисовало ей рай и обстоятельно, и ярко; оно надѣлило этимъ раемъ тѣхъ дѣтокъ, которыхъ, въ былое время, «кидала она какъ щенятъ, боясь потерять свою репутацію и страшась гнѣва своей строгой барыни, къ которой умѣла поддѣлаться». Но воображенье Афимьи поработало тутъ не только для успокоенія ея измученной совѣсти, но и для того, чтобы доставить сподручный выводъ ея

странной логикѣ, сбитой съ толку ея закоснѣлой безнравственностію. Афимья послѣ своего сна снова почувствовала какую-то нѣжность къ Егоркамъ да Петькамъ,— на томъ основаніи, что «теперь не за что ихъ мучить, что ребятамъ хорошо, весело на томъ свѣтѣ». Потому-то и приняла она въ сожительницы веселую «дѣвушку Аннушку», хорошо знакомую деревенскимъ веселымъ парнямъ. «Всякій разъ, когда такой парень гуляетъ съ Аннушкой въ кустикахъ, играетъ на гармоніи и пѣсни поетъ, она вспоминаетъ и Петьку, и Егорку.» Находя своего рода сладость въ подобныхъ воспоминаніяхъ, Афимья находитъ особую сладость и въ томъ, чтобы отомстить насолившему ей человѣку,—отомстить при помощи того *знанія*, какое предполагалось за нею. «Помни!» сказала она Ивану, когда онъ прогналъ ее, обозвавъ чертовкою, отъ своей больной жены, которую она только мучила своимъ нелѣпымъ лѣченьемъ. Это «помни!» постоянно звучало въ ушахъ у Иванова сына Михайлы, когда онъ, послѣ смерти матери, долженъ былъ, по хозяйственнымъ соображеніямъ, обзавестить работящей женой и бросить свою веселую Аннушку. Михайло былъ къ тому подготовленъ своимъ общимъ психическимъ состояніемъ.

«Онъ испугался, говоритъ авторъ, что его физическая небезукоризненность внесетъ во все существо Варьки, его будущей жены, страшную, неизцѣлимую, потрясающую смуту, которая можетъ разрушить, разстроить, уничтожить все, всю жизнь его и ея, и всего дома, и всего, что̀ живетъ около и вокругъ дома. Этотъ страхъ физическихъ бѣдъ осложнился тяжкимъ созна-

ніемъ грѣховной нечистоты, грѣха, который у Бога не можетъ быть оставленъ безъ наказанія, и наказаніе это придетъ, и онъ ждалъ его ежесекундно, съ той минуты, когда уха его коснулось слово: «помни!» И вотъ подобнымъ-то страхомъ, порожденіемъ больной совѣсти, заразившимъ и всю семью, и создана была та *порча* новобрачныхъ, которая приписывалась тому, что чуть не ставшая «блаженною» Афимья продолжала водиться съ чортомъ, самъ же чортъ представлялся тутъ какимъ-то орудіемъ Божеской кары. Вся эта, выставляемая Успенскимъ, путаница народныхъ понятій громко опять говоритъ о томъ, что у народа не оказывается въ настоящее время своей народной интеллигенціи.

Не менѣе психологической глубины, не менѣе и настоящей художественности представляетъ намъ и разсказъ «*Перестала*». Занимающійся извозомъ крестьянинъ Михайла женится по любви на дѣвушкѣ, умѣющей книжки читать, но скоро не стало у нихъ складу да ладу, потому что Афимья всячески колобродитъ: то сплетнями занимается, то въ странничество ударится, то не вѣсть что! Наконецъ-то надоумила Михайлу одаренная здравымъ практическимъ смысломъ калашница Артамоновна: «думалъ ты, дуракъ, что будетъ она тебѣ благодарна, ежели ей только чай съ сахаромъ пить, а никакого безпокойства не имѣть. Куда-жь она силу-то свою дѣнетъ, подумалъ ли ты?... Этакую-то золотую бабу ты, балбесъ, удумалъ на всю жизнь оставить безъ затрудненія?... Проси земли, а оба съ Авдотьей впрягнитесь въ одинъ хомутъ.... Съумѣй силу свою размотать и душу пріютить.» Поняла Артамоновна и то, что, за

неимѣніемъ своихъ дѣтей, надобно имъ чужого ребенка взять. Послушались, взяли одного, потомъ другого, «запряглись въ хомутъ», и Авдотья наконецъ «перестала». Ясно, что и иная женщина не крестьянскаго круга также бы «перестала», только бы и ей такъ или иначе «впрячься въ хомутъ, т. е. приняться за дѣло, всегда живительное для души.

Никакимъ общимъ заглавіемъ уже не связаны очерки: «*Буржуй*», «*Дохнуть некогда*» и «*Одинъ на одинъ*». Подробно описываетъ нашъ авторъ «новорожденнаго Россійскаго буржуя», которому пришлось, какъ и всѣмъ намъ, вырости на всемъ на готовомъ, такъ какъ ему, для жизненнаго успѣха не было надобности даже и въ «колбасной мысли колбаснаго Европейскаго мыслителя» (въ родѣ знаменитаго Пфуля, изобрѣтателя той колбасы съ фисташками, которая должна была удовлетворить разнородные вкусы Фридриха Великаго). Нашъ буржуй обошелся безъ малѣйшей «личной выдумки, личной работы мысли, имѣвшихъ бы цѣлью хотя бы только личное благосостояніе»... «Онъ появился вдругъ, неожиданно, какъ неожиданно, точно съ неба свалился, широчайшій *кредитъ*: банки промышленные, земельные, городскіе, общественные, концессіи и т. д.». Всѣмъ этимъ, какъ магнитомъ, притянуты были со всѣхъ сторонъ всякаго рода бездѣльники-ловкачи, и расплодилась ихъ цѣлая орда. «Купить!» вотъ что̀ внесла она въ общество. Купить чужую жену, купить балетчицу (былъ случай, что одинъ Петербургскій купецъ покупалъ полбалетчицы, такъ какъ она была уже наполовину куп-

лена), купить начальство, купить выборщиковъ,—словомъ, ничего, кромѣ—*купить*».

Съ однимъ подобнымъ буржуемъ авторъ столкнулся на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ. Онъ хвастался автору тѣмъ, что цѣлая ихъ компанія «такъ надрызгалась на небесахъ-то»—т. е. по-свойски угостилась на самой высотѣ горъ, прямо въ облакахъ. Съ такимъ господиномъ, которому, какъ и купцу Тараканову, только бы «слопать», но который совсѣмъ ужь не сознаетъ своей гнусности,—автору пришлось столкнуться и по пути—въ небольшой гостинницѣ, и видѣть, какъ содержатель ея, отецъ подростающаго семейства, поставляетъ ему въ номеръ «живой товаръ», поставляетъ именно потому, что у него на рукахъ дѣти, что «жить надо». «На улицѣ, говоритъ Успенскій, было скверно, пыльно, пустынно, неопрятно. Скверно и неопрятно было и у меня на душѣ. Этотъ звонкій дѣвичій голосокъ, этотъ мальчикъ, этотъ отецъ, дозволяющій гадости «ради семейства и дѣтей» и неимѣющій времени, за хлопотами, подумать, что и у той дѣвушки, которую онъ «предоставилъ», тоже есть родители, что и она такое же «дитя», какъ и его дѣвочка, что даже голосъ и смѣхъ ея—почти дѣтскіе, и наконецъ эта больная и дряблая, несчастная свинья, «дающая хлѣбъ» хозяевамъ, этимъ извозчикамъ, этимъ дѣвушкамъ съ почти дѣтскимъ голосомъ и смѣхомъ,—какая во всемъ этомъ безконечная тоска и мука!».

А тутъ опять новыя встрѣчи съ тѣмъ же сквернымъ типомъ во всевозможныхъ его видоизмѣненіяхъ. Такъ и хотѣлось бы ему сказать, «что онъ подлъ, га

докъ, что онъ кровопійца, что онъ язва, что всемуего существованію имени нѣтъ на человѣческомъ языкѣ». Но увы! «говорить такъ, значитъ — говорить правду о цѣломъ родѣ такихъ общественныхъ явленій, которыя пользуются не только безнаказанностью, но напротивъ— составляютъ именно обыденную, привычную, сегодняшнюю жизнь». Да и *сегодняшнюю* ли только, позволимъ мы себѣ спросить автора: почему не вчерашнюю, почему не завтрашнюю и т. д.? Авторъ, повидимому, разсчитываетъ на то время, когда «отдѣленные другъ отъ друга ненавистники буржуйнаго теченія перестанутъ быть отдѣльными» и когда «само буржуйное теченіе изчезнетъ въ какомъ-нибудь случайномъ и сильномъ теченіи». Но въ какомъ же? И какъ будто, что̀ касается собственно *этого*, дѣло только въ одномъ «буржуйномъ теченіи»? «Вотъ вамъ какой-нибудь докторъ,— онъ вѣдь, пожалуй, прямой ненавистникъ буржуйства, но это не мѣшаетъ и ему самому быть такимъ подлецомъ, чтобы дать извѣстнаго рода совѣтъ мамашѣ-вдовѣ, озабоченной нервною болѣзнью своего любимаго 18-ти-лѣтняго сына. На самомъ дѣлѣ эта нервная болѣзнь—только слѣдствіе широкой жизни ея покойнаго мужа, передъ которымъ благоговѣетъ она, какъ передъ общественнымъ дѣятелемъ—изъ тѣхъ, что̀ старались по-своему обкарнать крестьянскую реформу. Маменька нервнаго юноши—дама благочестивая, чуть-ли не каждый день ходящая въ церковь,—зато, конечно, и разсчитывающая отмолить тотъ грѣхъ, который она прямо и видитъ въ совѣтѣ доктора, — видитъ и тѣмъ не менѣе слѣдуетъ этому совѣту, хотя матерьяльное

положеніе ея, при большой семьѣ, совсѣмъ не буржуйное, но она ничего не пожалѣетъ, только бы «вылѣчить» своего дорогого Ваничку. Но Ваничка—юноша съ идеальнымъ полетомъ мысли, ему прямо претитъ то, что́ совѣтуетъ подлецъ докторъ, на чемъ настаиваетъ дура мать. Его урезониваютъ, онъ наконецъ слушается,—ему становится гадко ото всего этого, отъ самого себя, не выдержавшаго характера,—нервные пароксизмы у него усиливаются, и онъ умираетъ отъ разрыва сердца (все это фактъ). А вотъ какой-нибудь вашъ пріятель—не докторъ, но человѣкъ, кое-что и по этой части читавшій, человѣкъ вообще образованный, даже — если еще не магистръ (какъ тотъ сожитель Фроси, исторія котораго была напечатана въ «Русской Мысли» и гдѣ-то затрогивается нашимъ авторомъ), то магистратъ. Онъ никогда не будетъ такимъ малодушнымъ извергомъ, какъ тотъ магистръ, который пришелъ въ такое отчаяніе, когда у его Фроси родился ребенокъ—докучливая помѣха его ученымъ трудамъ; онъ скорѣе любилъ бы дѣтей, если бы они у него были, любилъ бы посвоему. Но вотъ онъ видитъ ваши заботы о юношѣ, котораго ввѣрили вамъ родители, къ которому вы привязались всею душой, который сталъ для васъ какой-то святыней, такъ что вы то и дѣло боитесь, какъ бы не пахнуло отъ васъ чѣмъ нибудь нездоровымъ на свѣжую новь его юной души,—а вашъ образованный, вашъ ученый пріятель совѣтуетъ вамъ: «пусть у него на рукахъ всегда будутъ лишнія деньги, да и не требуйте отчета», совѣтуетъ съ прямымъ намекомъ на то, что́ совѣтовалъ матери подлецъ-докторъ. А все, видите ли, потому, что

если на 19-мъ году жизни не позаботиться объ *этомъ*, то заведется будто бы непремѣнно *другое*, похуже,—то, о чемъ, какъ и обо всемъ, такъ откровенно говоритъ Зола *). А когда вы, пожимая плечами, утверждаете, что, при здоровомъ развитіи физическомъ и душевномъ, возможно избѣгнуть и того, и другого и вполнѣ сберечь въ юношѣ будущаго добраго семьянина, особенно если таковъ и его отецъ,—вы рискуете когда нибудь прочесть въ дневникѣ у вашего пріятеля отзывъ о себѣ, какъ объ «идейномъ человѣкѣ», — другими словами — мечтателѣ, чуть не глупцѣ (и это фактъ). Такъ изъ чего же тутъ создашь *другое* теченіе, такое, въ которомъ бы потонулъ буржуй, освѣжающій себя тѣмъ живымъ процентомъ, отъ котораго содрогался Раскольниковъ? Не большинство ли, помимо какого-либо буржуйства, этимъ же себя освѣжаетъ? Но обратимся къ послѣднимъ очеркамъ.

«*Дохнуть некогда*», увѣряютъ дѣловые люди,—судебный приставъ Апельсинскій, исправникъ и мировой судья, отправляющіеся на земской телѣгѣ въ походъ на недоимщиковъ и неплательщиковъ. Всего болѣе ораторствуетъ Апельсинскій. Однажды, по его словамъ, онъ попалъ въ такую трясину, что пришлось бросить лошаденку и сѣсть верхомъ на мужика, который взялся-доволочь «его благородіе» до лѣсного объѣздчика. Выбился мужикъ изъ силъ, пришлось слѣзать, а мужика посылать съ повѣсткою къ старостѣ. «Замѣтьте, говоритъ

*) Трудно сказать, почему? Потому ли, что онъ ультра-реалистъ, циникъ, или потому, что въ наше время нельзя иначе? Скорѣе послѣднее. Въ сущности Зола *моралистъ*.

онъ, вечеръ, седьмой часъ; я вспотѣлъ, а ужь крѣпко морозитъ... того и гляди тифъ.» А у него вѣдь семья, которую онъ, конечно, воспитываетъ въ такомъ же страхѣ передъ всякими *тифами*, въ какомъ вообще воспитывается наше дряблое поколѣніе. Этотъ изнѣженный страхъ Апельсинскаго невольно напоминаетъ намъ ту *тифозную панику*, которая однажды сказалась у насъ на глазахъ въ университетѣ, когда, при весеннихъ слухахъ о тифѣ, студенты собирались подать прошеніе о томъ, чтобы экзамены отложены были до осени; потомъ впрочемъ спохватились и устыдились, чего не случилось съ Апельсинскимъ. На замѣчаніе везущаго его съ другими ямщика, что молъ диво еще, какъ это лошади не валятся съ ногъ, за неимѣніемъ даже и клочка сѣна, онъ въ свою очередь замѣчаетъ: «вамъ вотъ все какъ-то Господь помогаетъ, а ты подика въ нашу шкуру влѣзь». Но у ямщика опять своя логика; слыша, какъ господа толкуютъ о томъ, что вся эта ихъ маята ни къ чему, такъ какъ дѣти въ наше время неблагодарныя, онъ, «своими разглагольствованіями о неурожаѣ» намекаетъ на «ненужность той же самой маяты и по отношенію уже не къ семьѣ, а, такъ сказать, къ отечеству и къ народу». Въ самомъ дѣлѣ, сколько тутъ ни вымогай, ни взыскивай, — ничего не подѣлаешь, если хлѣба такъ-таки и не уродилось. Но что́ имъ до этого? «Всѣ они, говоритъ авторъ, давнымъ давно свыклись съ тою мыслью, что именно въ томъ, что́ происходило сегодня—т. е. въ присужденіи розогъ, въ запираніи въ «темную» и т. п.—и заключается то, что́ называется «дѣломъ», «службой». Между тѣмъ

«каждый изъ нихъ чуялъ, что всѣ эти дѣла — ничто сравнительно съ той простой нуждой народной, удовлетвореніе которой тотчасъ же прекратило бы весь этотъ тяжеловѣсный дѣловой сумбуръ». Но вѣдь одного чутья мало; оно должно бы быть доведено до сознанія, что какая же «служба отечеству», если она «оторвана отъ дѣйствительныхъ нуждъ тѣхъ человѣческихъ существъ, изъ которыхъ это отечество состоитъ? До такого сознанія дѣло не доходитъ, потому что для такого сознанія нужно было сохранить въ себѣ живую душу; все ограничивается тѣмъ, что какой нибудь слѣдователь, и то съ пьяна, пустится услаждать себя, подобно Ивану Грозному, публичнымъ покаяніемъ: «я посадилъ дѣвчонку, теперь мнѣ надо сажать цѣлую деревню... Кулачишко имъ сдѣлалъ подтопъ мельницей, оставилъ безъ сѣна, безъ молока, безъ пищи ребятамъ, безъ скотины, безъ дровъ... Я, университетски образованный, я долженъ стоять за кулачишку; у него собственность, плотина, а они самовольно ее разломали... У нихъ дѣти, старики, жены,—это ничего! Это ниже собственности! Мнѣ этого довольно, довольно! Позоръ, стыдъ, срамъ!... Человѣкъ, на тебѣ фуражку! Водки давай! Давай лапти! Лапти мнѣ?.. Это... это... это одна ѣзда, ѣзда и кровь человѣческая... Лапти давай мнѣ, каналья, лапти!...»

Но на повѣрку выходитъ, что и это-то только во снѣ. Проснувшись, авторъ видитъ передъ собою настоящую группу тѣхъ самыхъ дѣятелей, которые ему приснились; но на яву онъ видитъ не что иное, какъ «ясныя, свѣтлыя лица ихъ и спокойные пріемы». Почему же эти люди «такъ самодовлѣющи»? «Потому ли, что

дѣла ихъ ясны и свѣтлы, или потому, что въ темныя и неясныя дѣла они сами только и дѣлаютъ, что вносятъ свѣтъ?» Какъ бы то ни было, вотъ «и столикъ съ картами и съ мѣломъ пронесли для нихъ два сторожа въ 1 классъ,—очевидно, что люди настоящіе, дѣлающіе какое-то тоже, должно быть, настоящее дѣло».

«*Одинъ на одинъ*» — такъ озаглавленъ очеркъ, написанный съ цѣлью психологически объяснить звѣрское истязаніе своей жены писаремъ Пищиковымъ. Дѣло, конечно, не въ ревности къ прошлому жены, которое было ему досконально извѣстно; дѣло и не въ корыстолюбіи—такъ какъ жена уже давнымъ-давно закрѣпила за нимъ свои 70,000 рублей. Такъ въ чемъ же? А въ томъ, что «просторно и пусто кругомъ Пищикова... просторно и пусто въ немъ самомъ, въ его *пустой душѣ*, пусто, какъ въ огромномъ пустомъ сараѣ... Но надо же, чтобы тамъ что-нибудь жило; нельзя же такъ просто лить туда водку, надо что-нибудь!.. И вотъ въ его неласковомъ сердцѣ является мысль о Телятъ-беѣ» (которымъ до замужества увлекалась его жена, къ которому самъ онъ носилъ ея письма). Прибѣгая къ сравненію съ фабрикою во время перерыва работы, авторъ поясняетъ: «Пищиковъ-то именно и есть это одинокое колесцо, безъ устали вертящееся на оси своего личнаго вопроса. Будь это колесцо притянуто приводнымъ ремнемъ, т. е. какою-нибудь нравственною связью, ко всему общему механизму, къ этимъ отдѣльно стучащимъ и шипящимъ гайкамъ и винтамъ, къ этимъ людямъ, которые живутъ кругомъ него, ощущай онъ хоть чуть-чуть, что на немъ лежитъ ремень—обязанность,—и эта

лошадиная сила, вылившаяся въ такомъ непостижимомъ злодѣйствѣ, убавилась бы на половину; а разъ она должна бы была дать мѣсто чему-то не *своему*, не *личному*, а общечеловѣческому, — она бы не посмѣла выразиться по крайней мѣрѣ такъ, такъ ужасно... свободно, какъ она могла выразиться...» А могла она такъ выразиться потому, что хотя кругомъ его не «пустыня», а деревня, хотя онъ бывалъ у священника, у кабатчика, у станового,—хотя такимъ образомъ вокругъ «не камни, не звѣри», а «люди», — но и она, какъ и онъ самъ, живутъ себѣ «каждый по одиночкѣ, какъ винты, гайки и поршни на фабрикѣ, находящейся безъ работы, томящіеся въ обиліи и тяготѣ *своихъ* крошечныхъ печалей и заботъ, безъ умолку толкущіеся въ *своихъ* выше головы кажущихся горестяхъ, но между всѣми ими нѣтъ ничего связующаго, нѣтъ приводнаго ремня... «Одинъ на одинъ», «съ глазу на глазъ съ самимъ собою» — вотъ характернѣйшая черта «безвременья», результатъ искусственно, съ огромными нечеловѣческими усиліями оборванной связи, разрѣзаннаго нерва, который на нашихъ глазахъ такъ животворно соединялъ когда-то меня, отдѣльнаго человѣка, со всѣмъ человѣчествомъ вообще и со всей Русской землей въ частности.»

Отъ писаря Пищикова авторъ переходитъ внезапно къ сельскому учителю Усманскаго уѣзда, описывающему въ губернскихъ вѣдомостяхъ весь ужасъ своего положенія, способнаго довести до самоубійства, «Отчего же такой ужасъ охватилъ его? спрашиваетъ авторъ. Отчего ему представилось, что быть сельскимъ учителемъ Усманскаго земства почти то же, что̀ быть заживо за-

рытымъ въ могилу? Мнѣ кажется, отвѣчаетъ авторъ, что ужасъ овладѣлъ бѣднягой именно отъ ощущенія одиночества. Онъ одинъ въ пустынѣ со своими тетрадками, книжками, чернильницею .. Кругомъ—невѣжество, ничего общаго съ его святой миссіей, онъ обреченъ на всю жизнь чахнуть надъ таблицей умноженія, «фыкать» и «пыкать», — онъ одинъ, а все чуждо ему и всѣмъ чуждъ онъ». Но тутъ мы уже положительно не согласны съ авторомъ. Онъ черезчуръ впечатлителенъ, у него уже слишкомъ розыгралось воображеніе. И къ чему же въ такомъ случаѣ зоветъ онъ интеллигентныхъ тружениковъ на простонародную ниву? Они вѣдь зачахнутъ въ своемъ одиночествѣ! Нѣтъ, сто разъ нѣтъ! Такой дѣятель никогда не будетъ одинъ—посреди бездушныхъ тетрадокъ, книжекъ... Да и самыя эти тетрадки и книжки не будутъ бездушны, если только душа окажется въ немъ самомъ... Она не дастъ ему быть одинокимъ, она притянетъ къ нему этихъ ребятъ и подростковъ, она откроетъ ему доступъ въ ихъ живыя души, эти души чутко откликнутся на вѣщій призывъ его души, манящей ихъ къ свѣту, указывающей имъ выходъ изъ окружающей тьмы... Говоря это, мы вполнѣ вѣримъ, что Усманскій учитель не рисовался, а писалъ искренно, знаемъ, что и многихъ именно такое настроеніе приводило наконецъ къ самоубійству. Но мы видимъ въ такомъ настроеніи одну изъ болѣзней воли;- этимъ людямъ мало дѣйствовать въ ограниченомъ кругу, не на виду у людей,—они одержимы своего рода *маніей величія*. Мы всегда отъ души ихъ жалѣли, но всякому, кто говорилъ намъ: «я не вижу цѣли въ жизни»,

мы всегда отвѣчали: «вы ищете ее слишкомъ далеко, а она у васъ подъ бокомъ». Насъ обвиняли въ безсердечіи, но мы остаемся при нашемъ взглядѣ.

Зато авторъ совершенно правъ, когда въ томъ же очеркѣ говоритъ, что «у насъ на Руси никто не предоставленъ въ такой степени «пустому пространству» относительно общественной дѣятельности, какъ человѣкъ «вполнѣ обезпеченный». Но почему же такъ? «Да просто, отвѣчаетъ авторъ, говоря по чистой совѣсти, *боимся!...* и это *боимся* начинается для Русскаго развитого человѣка какъ разъ тогда, когда бы ему слѣдовало подумать «и о другихъ», когда ему даже и самому приходитъ желаніе подумать и поработать для другихъ.» Но въ томъ-то и дѣло, что мы *боимся*, а пора же хоть кому-нибудь *перестать бояться*, перестать ссылаться на пословицу: «одинъ въ полѣ не воинъ». Пословица эта черезчуръ логична, она черства, безсердечна, а потому и негодна для жизни; то ли дѣло другая: «смѣлымъ Богъ владѣетъ!»

Какъ бы то ни было,—всѣ мы живемъ себѣ болѣе или менѣе «одинъ на одинъ», отдаемъ «всю свою жизнь, силу, кровь, плоть»—Успенскій говоритъ: *и душу*, но душа тутъ не причемъ—«капельному личному вопросику», и «*не ощущаемъ ни малѣйшей потребности удѣлить что-нибудь изъ своихъ личныхъ силъ, личнаго горя, личнаго вниманія на интересъ, печали, радости гоот океана людей, среди котораго мы живемъ.*» Конечно, мы въ большинствѣ случаевъ не доходимъ отъ этого до преступленія,—а просто живемъ безъ добра, обходимся безъ души, т. е. *не живемъ!*

Post scriptum.

Новое изданіе сочиненій Г. И. Успенскаго, столь изумительно дешевое, оказалось однако же заключающимъ въ себѣ и новаго матеріала приблизительно на цѣлыхъ два тома—въ объемѣ прежняго, восьмитомнаго изданія (такъ что въ нынѣшнихъ двухъ томахъ заключается уже не прежнихъ восемь, но цѣлыхъ десять томовъ). Новый матеріалъ оказался раздѣленнымъ надвое: одна часть его помѣщена въ концѣ перваго тома, а другая въ концѣ второго. Но такъ какъ и помѣщенное въ первомъ томѣ (что̀ видно изъ содержанія) принадлежитъ къ болѣе поздней порѣ, то мы и позволяемъ себѣ коснуться всего дополнительнаго матеріала заодно—въ видѣ двухъ дополнительныхъ главъ къ тому, что̀ написано было нами на основаніи прежняго изданія, присоединяя еще и третью главу, посвященную вступительной статьѣ къ новому изданію Н. К. Михайловскаго.

КОЙ-ПРО-ЧТО.—ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ.

I.

Первымъ изъ этихъ заглавій соединено пятнадцать очерковъ, между которыми нѣтъ особенно замѣтной внутренней связи. И по формѣ эти очерки не особенно

сходны: въ нѣкоторыхъ преобладаетъ *публицистъ*, въ нѣкоторыхъ—*художникъ* и *психологъ*. Не всѣ очерки одинаково содержательны, а потому мы и не будемъ останавливаться на каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности. Рисуютъ они намъ по преимуществу крестьянскую жизнь—опять съ основною «правдою» ея земледѣльческаго труда, соединяющаго въ одно слугу и хозяина, но и со всѣми вторгающимися въ нее посторонними соблазнами, съ присущимъ ей и помимо этихъ соблазновъ, вслѣдствіе обездушенія общины, внутреннимъ зломъ, противъ котораго употребляются ужасно героическія «свои средствія». Къ нимъ присоединяется тутъ такое «*послѣднее средство*» (заглавіе очерка) противъ своего же брата, вылѣзшаго изъ мужиковъ въ купцы, какъ поголовный доносъ цѣлаго общества о томъ, что будто бы онъ «состоитъ въ подпольныхъ сицилистахъ». Особенно сильное впечатлѣніе производитъ въ одномъ изъ очерковъ тринадцатилѣтній крестьянскій мальчикъ, съ которымъ разсказывающій встрѣчается въ вагонѣ. Уткнувшись лицомъ въ узелъ, онъ заливается слезами, а на разспросы сосѣдей у него изъ груди вырывается: «ма-мы-нька задушила-а-ась?» (*«Урожай»*).

Этой семейной трагедіи, содержаніе кокоторой и излагается затѣмъ вкратцѣ, соотвѣтствуетъ другая, героемъ которой является «тронувшійся» отъ семейнаго горя мужикъ (*«Недосугъ)»*. Какая-нибудь трагедія — опять, разумѣется, будничная, а не въ классическомъ вкусѣ—должна разыграться и въ завершеніе «*Петькиной карьеры*», которой посвященъ особый очеркъ, хотя все въ немъ пока благополучно: Петька, стащив-

шій было уже десять рублей у приголубившихъ его людей, стащившій не въ прокъ для своихъ, такъ какъ на эти деньги только окончательно загулялъ его отецъ,— вдругъ попадаетъ на «хорошую» дорогу, благодаря доброму человѣку, опредѣлившему его на спичечную фабрику. Мать отъ радости чуть не цѣлуетъ его «золотыя рученьки», съ которыми онъ наконецъ перебирается въ Питеръ, но разсказчикъ заранѣе даетъ намъ предвидѣть всѣ тѣ мытарства, черезъ которыя должна тамъ пройти его «душенька». Авторъ такимъ образомъ продолжаетъ напоминать намъ обо всемъ томъ, во что́ обыкновенно мѣшаетъ намъ вникнуть «нашъ недосугъ, «то то, то другое», все та «своя часть», которая теперь исключительно наполняетъ все существованіе Россіянина, довольствующагося и обремененнаго микроскопическими заботами собственной кутузки». Вдумываясь въ нашу печальную личную отрозненность отъ цѣлаго, онъ замѣчаетъ: «постепенно, медленно, но систематически шло у насъ на Руси это дѣло разъединенія людей въ общихъ вопросахъ жизни, и не вдругъ воспиталось умѣнье наполнять жизнь цѣлаго дня пустопорожней суетой личнаго недосуга; но въ концѣ концовъ невниманіе къ жизни ближняго воспиталось таки въ насъ въ весьма достаточной степени» (*«Избушка на курьихъ ножкахъ»*, II). А въ результатѣ получалось то, что мы, сошедшись между собою, можемъ только дохнуть другъ на друга «холодомъ утомленной и опустошенной души», какъ выведенные авторомъ земецъ, хроникеръ и ни къ чему еще непристроившійся молодой человѣкъ, которыхъ выводитъ изъ ихъ душевнаго столбняка, отбив-

шаго даже и аппетитъ, тотъ лакей въ гостинницѣ, который, не смотря ни на какіе подаваемые имъ «фриты» и «консомеи», носится со «своею великолѣпной мечтой— жить въ деревнѣ своимъ хозяйствомъ» («Развеселилъ господъ»). Авторъ, точно желая дать отдыхъ читателю, рисуетъ намъ какъ бы преддверіе такой счастливой жизни—въ томъ очеркѣ («Послѣ урожая»), гдѣ мы знакомимся съ молодыми деревенскими женихомъ и невѣстою, отношенія которыхъ, не смотря на нѣкоторыя отталкивающія подробности обрядовой стороны сватовства, представляются совершенно нормальными и вызываютъ вполнѣ основательное замѣчаніе: «подумаешь, помумаешь—какой еще жизни надо намъ отъ Бога просить, окромѣ крестьянской, ежели только бы маломальски благополучно утвердиться». Эти слова крестьянина-возницы наводятъ разсказчика на такія соображенія, которыя окончательно разъясняютъ намъ смыслъ только-что представшей передъ нами *идилліи* (употребляю прямо это выраженіе и вовсе не въ ироническомъ смыслѣ). «Тотъ кусокъ хлѣба, который добывается деревенскою хозяйственной, тянущейся всю жизнь отъ колыбели до могилы, суетой-суетъ—мнѣ кажется, ставитъ и душу человѣческую (а она-то вѣдь и остается главнымъ предметомъ заботъ Успенскаго) въ невозможность быть проданной изъ-за куска хлѣба. И во мнѣ рождается сомнѣніе: точно ли въ этой хозяйственной суетѣ-суетъ забота только о единомъ хлѣбѣ? Можетъ быть, въ этой неустанной суетѣ-суетъ вокругъ своего дома и своей личности сказывается самая тонкая щепетильность человѣческаго достоинства, нежелающаго

подвергнуть малѣйшему насилію свою неизломанную душу», т. е. конечно, тому насилію, какому подвергаетъ фабричный и всякій такой трудъ, при которомъ слуга уже не соединяется въ одномъ лицѣ съ хозяиномъ. Возница Михайло, приходящій въ такое умиленіе отъ идилліи сватовства будущихъ зажиточныхъ деревенскихъ хозяевъ, по собственному опыту знаетъ, какія мытарства ожидаютъ того, кому Богъ пошлетъ отца, отбившагося отъ крестьянства. Михайло еще въ ранней молодости подносилъ къ своему горлу ножъ, да во время добрая женщина остановила, а затѣмъ онъ и выбился на дорогу, выработавъ въ себѣ мало-по-малу замѣчательную силу характера. Но окончательно сталъ онъ на ноги только съ той поры, когда научила его крестьянскому труду та работящая дѣвушка, съ которою и соединилъ онъ затѣмъ свою участь. И достигли они наконецъ того, что выстроили свою избушку: «ну, вотъ такъ оно съ Божьей помощью помаленьку и идетъ, говоритъ Михайло. Такъ вотъ какая жизнь-то наша! Такъ что-жь, нешто не рай мнѣ теперь въ избушкѣ-то? Куда ты меня изъ нея выгонишь?» («Избушка на курьихъ ножкахъ»).

Но рай этотъ, разумѣется, много зависитъ отъ того, что онъ и его Дарья Петровна другъ друга любятъ, какъ любятъ другъ друга и тѣ женихъ съ невѣстою, будущимъ раемъ которыхъ восхищается тотъ же Михайло. Но не всегда вѣдь крестьянскій хозяйственный союзъ основывается на любви,—безъ нея, разумѣется, и онъ становится тою суетою суетъ, которая уже и не думаетъ о томъ, что «не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ

человѣкъ». О рѣшительномъ перевѣсѣ въ крестьянской жизни *хозяйственной* точки зрѣнія, который способенъ придавать ей подчасъ (выражаясь полѣтописному) звѣринскій образъ, авторъ говорилъ намъ еще во «Власти земли». Косвенно онъ напоминаетъ о томъ же и въ очеркѣ «Взбрело въ башку». Тутъ вѣдь самая, такъ рѣдко дающаяся крестьянину, благодать полнаго урожая, надѣляющая его широкимъ досугомъ, оказывается способною довести его до соблазна—въ видѣ тѣхъ воспоминаній, которымъ отдается онъ на досугѣ. А воспоминанія эти—о томъ существѣ, жить съ которымъ было бы для него семейнымъ раемъ, но не достался ему этотъ рай—въ силу грубо хозяйственнаго разсчета родителей. На такихъ-то, грубо хозяйственныхъ соображеніяхъ, какъ оно случается сплошь и къ ряду, основывался и тотъ бракъ, въ какой онъ вступилъ—не съ милою ему Аннушкою, а съ доставшеюся ему волею обстоятельствъ Анисьей. «Свѣтъ Аннушкина образа, говоритъ Успенскій, осіявшій его мысль и очистившій ее (когда онъ вдругъ о ней вспомнилъ), осіялъ и его отношенія къ его женѣ Анисьѣ, и онъ увидалъ до какой степени онъ подлъ относительно этой женщины... Взялъ онъ ее, какъ скотину, старался о томъ, чтобы всякаго рода трудъ поглощалъ всю ея жизнь, жилъ съ ней, какъ мужъ, только для того, чтобы она ему повиновалась.» Вотъ такое-то сознаніе, надо думать, гораздо болѣе, чѣмъ ревность жены, подслушавшей, что онъ во снѣ упоминаетъ постороннее женское имя, и доводитъ Ивана Алифанова до вторичнаго въ его жизни губительнаго разгула (первый послѣдовалъ послѣ того, какъ его разлу-

чили съ Аннушкой). Отъ окончательной гибели спасаютъ его только отмороженныя въ безчувственномъ состояніи руки. Тутъ вѣдь пригодился усидчивый уходъ жены, къ которой, хотя и попрекающей его подчасъ, онъ наконецъ обращается съ такими словами: «прости меня, подлеца! Подруга ты моя законная! Кормилица ты моя!» Въ такой развязвѣ, правду сказать, слышится что-то искусственное, дѣланное, какъ и въ заключительныхъ словахъ очерка: «не думаю, чтобы съ Алифаловымъ могло случиться что нибудь подобное еще разъ: рѣдко у насъ урожаи и рѣдко балуютъ они человѣка такимъ просторнымъ досугомъ». Слова эти окончательно придаютъ очерку характеръ какого-то упражненія на прописную тему о «лѣности—матери всѣхъ пороковъ». Сущность же разсказа не въ этомъ—и даже не въ томъ соблазнѣ, какимъ представляется Алифанову ближняя желѣзнодорожная станція съ ея уже городскими порядками, а скорѣе во внутренней причинѣ дѣйствія на него этихъ соблазновъ, заключающейся уже въ самóй деревенской жизни, въ томъ перевѣсѣ въ ней грубо-хозяйственнаго начала, при которомъ спасеніемъ отъ соблазна является только трудъ безъ расклона—безъ того, столь рѣдкаго даже праздника, какимъ можетъ подарить урожай.

Какъ бы писаніемъ на заданную себѣ тему, кажется намъ, отзывается и очеркъ «*Добрые люди*». Непосредственно слѣдуя за очеркомъ «*Развеселилъ господъ*», онъ и самъ получаетъ характеръ разсчитаннаго на то, чтобы *развеселить*, или, вѣрнѣе, порадовать читателя, измучившагося, должно быть, отъ все однѣхъ и тѣхъ же исключительно грустныхъ да грустныхъ картинъ.

Мы далеки отъ того, чтобы не признавать «одинокихъ фигурокъ добрыхъ людей и ихъ маленькихъ добрыхъ дѣлъ», о которыхъ говоритъ тутъ авторъ. Мы готовы признать, что такихъ фигурокъ даже вовсе не мало и что онѣ не всегда являются и совсѣмъ одинокими. Но собственно тѣ фигурки, которыя выставлены въ настоящемъ очеркѣ, представляются намъ какъ будто бы дѣланными—особенно Петербургскій портной Филипычъ, который, послѣ своей семейной утраты, вдругъ отказавшись искать услады только въ штофѣ, рѣшается помогать деревенскому люду, говоря: «что́ я выработою по портновской части, то все предоставлю вамъ, какъ вашъ полный благодѣтель». Сомнѣніе наводитъ прежде всего то, въ какомъ видѣ представляется онъ, уже послѣ своего перерожденія (далеко не полнаго, какъ оказывается), при первомъ съ нимъ знакомствѣ читателя. Тутъ рисуется вѣдь такая прямо отвратительная картина: «въ тарантасѣ сидѣлъ какой-то человѣкъ, худенькій, кривобокій, изможденный, крѣпко пьяный, въ разстегнутомъ пиджакѣ и жилетѣ. Двѣ молодыя, здоровыя бабы съ гармоніями сидѣли у него въ ногахъ, свѣсивъ свои ноги на подножки тарантаса, и горланили пѣсни, въ то время, какъ кривобокій человѣкъ, изъ всѣхъ силъ надсаживая свою разбитую грудь и стараясь перекричать галдѣвшую толпу, махалъ своимъ картузомъ и почти кричалъ: «Милочки вы мои! поклонники вы мои! Не забуду я васъ до гробовой доски! Други! Ангелы мои!»

— Филипычъ! галдѣли мужики и бабы! Ты отецъ нашъ! ты нашъ покровитель!»

Если бы даже этотъ Филипычъ былъ срисованъ съ натуры, то онъ срисованъ не такъ, чтобы можно было признать живое лицо. Нѣсколько дѣланнымъ представляется намъ и тотъ работающій не изъ-за барыша Иванъ Николаевичъ, дальнѣйшая исторія котораго разсказывается въ очеркѣ «*На бабьемъ положеніи*». Этотъ Иванъ Николаевичъ самъ про себя частенько говоритъ: «я человѣкъ добрый». Но и на его душѣ, по его же признанію, лежитъ камень. «Вотъ какъ я доберъ! увѣряетъ онъ. А доберъ вѣдь передъ Богомъ! А такъ вышло, что едва на смерть не убилъ человѣка.» Оказывается, что онъ едва не убилъ своей мачихи, той самой, помогая которой во всемъ онъ и состоялъ на *бабьемъ положеніи*, мачихи, вовсе не напоминавшей того, что́ принято разумѣть подъ этимъ словомъ, такой же доброй, какъ и онъ самъ, и крѣпко къ нему привязавшейся,—едва не убилъ ее, потому что отецъ, растолковавъ эту привязанность по-своему, заподозрилъ ихъ обоихъ въ грѣхѣ, а она ни съ того, ни съ сего смутилась, когда ей вслѣдъ за пасынкомъ пришлось поклясться передъ міромъ, что она негрѣшна. Тутъ нашъ авторъ, повидимому, задался такою психологическою задачей, съ какою однако же не совладалъ.

Совсѣмъ не то исповѣдь того хозяина, у котораго пришлось по пути остановиться разсказчику («*Разговоры въ дорогѣ*),—человѣка, совсѣмъ пришибленнаго, начинающаго съ горькихъ жалобъ на бросившую его жену, а кончающаго тѣмъ, что самъ-то онъ и есть «сволочь».— «У нея, сознается онъ, была спервоначалу душа чистая, а у меня душа была грязнѣй грязи! Я собственно

потому и вовлекъ ее въ бракъ, что душа-то моя почернѣла, такъ мнѣ требовалось около чистаго пріютиться... Вотъ я и выдернулъ ее изъ грядки за хохолъ, какъ рѣдьку! Да къ себѣ въ берлогу! А она не мнѣ чета была.» Тутъ опять та вполнѣ правдивая исторія проснувшейся совѣсти, жаждущей возрожденія души, съ которою мы хорошо знакомы по прежнимъ произведеніямъ Успенскаго.

Отъ тѣхъ семейныхъ терзаній, которыя такъ ужасно сказываются въ жизни простого человѣка, при нерѣдкомъ отсутствіи взаимной любви и соотвѣтствія душевной природы у мужа и у жены, Успенскій переходитъ къ семейному разладу, сказывающемуся не менѣе часто въ средѣ культурной. Тутъ на это имѣются, какъ намъ уже извѣстно съ его же словъ, и другія причины. При условіяхъ деревенской жизни все же остается возможность духовнаго единенія въ семьѣ, основывающаяся на единствѣ интересовъ и зависящаго отъ нихъ труда у мужа и у жены. Совсѣмъ не то въ той, совсѣмъ другой сферѣ, о которой иносказательно говорится въ очеркѣ «*Не быль, да и не сказка*», и совсѣмъ уже прямо въ слѣдующей затѣмъ «*Замѣткѣ*». «Право, мнѣ кажется, говоритъ въ первомъ изъ этихъ очерковъ корень, опредѣляющій свои отношенія къ цвѣтку, что въ нашемъ обществѣ онъ и она сходятся только до брака, т. е. до брака они употребляютъ всевозможныя усилія найти между другъ другомъ что нибудь *общее*—въ книгѣ, въ мнѣніи, во взглядахъ... Теоретически однородные, они наконецъ образуютъ изъ себя одно *мы;* но тотчасъ же начинается жизнь, практика жизни, — и роли того и

другого опять расходятся въ совершенно разныя стороны! Тоже было, продолжаетъ *корень*, и съ нами: она *(«цвѣтокъ»)* пошла въ тѣло, стала полнѣть, накапливать силъ для будущаго поколѣнія; въ этомъ сказалось *ея дѣло;* мое дѣло сказалось въ необходимости добыть матерьялъ для ея силъ,—и вотъ мы стали расходиться—она въ стебель и цвѣтъ, а я—въ корень, она—къ солнцу, а я во тьму... Постепенно удаляясь отъ бѣлаго свѣта, постепенно теряя связь съ общими, теперь уже ненужными, мѣшавшими мнѣ интересами, я все больше и больше сосредоточивался на извлеканіи средствъ; всѣ мои поступки стали вытекать, откровенно говоря, изъ своекорыстныхъ побужденій». Ну, а она? она только и дѣлаетъ, что, при всемъ томъ, ропщетъ: «только и знаетъ, придетъ изъ управленія летучихъ ящеровъ, только и разговору,... кто на сто процентовъ больше убьетъ... У Коли насморкъ, а онъ мнѣ о предсѣдателѣ земской управы... Цѣлый день одно, дождемся обѣдать, а послѣ обѣда онъ уйдетъ играть въ карты, тутъ поневолѣ одурѣешь...»

А изъ слѣдующей затѣмъ «замѣтки» оказывается, что также точно или даже гораздо хуже оно во Франціи, гдѣ, если вѣрить Дюма-сыну, мужъ и жена даже «прямо пожираютъ другъ друга, чтобы умертвить душу. Любовная страсть явилась для него въ видѣ постоянной жестокой битвы, кончающейся всегда смертью одного или обоихъ вмѣстѣ, если не физической, то нравственной... Не довольствуясь тѣмъ, что въ цѣломъ рядѣ пьесъ Дюма показалъ жестокую битву между самцомъ и самкой въ мірѣ тайной проституціи и адюльтера, онъ

показываетъ ту же битву и въ нѣдрахъ супружества, самаго настоящаго и законнаго супружества». Тутъ Успенскій цитуетъ статью г. Боборыкина въ «Вѣстникѣ Европы», но за этимъ слѣдуютъ уже его собственныя соображенія по поводу того, что молодой мужъ въ одномъ изъ произведеній Дюма поникнулъ головою у изголовья жены, подарившей его ребенкомъ. «Отчего же онъ *поникъ головой*?» спрашиваетъ Успенскій, сейчасъ же и отвѣчая: «мнѣ кажется, что испугалъ и ошеломилъ молодого мужа (да и молодую жену изъ породы зонтиковъ) именно ребенокъ... потому, что между ними, людьми, раздѣленными строемъ буржуазной жизни на неимѣющія ничего общаго роли цвѣтка и корня, — появилось существо, требующее отъ нихъ заботъ *во всѣхъ отношеніяхъ*; они оба, и мужъ, поникнутый головой, и думающая, какой ей теперь купить корсетъ, жены—*впервые* на безпомощномъ ребенкѣ ощущаютъ *кабалу отвѣтственности* за человѣка *во всѣхъ отношеніяхъ*... Голова нашего мужика и бабы, продолжаетъ Успенскій, не поникнетъ отъ ребенка, произойдетъ только задержка въ работѣ, но тутъ помогутъ добрые люди; отвѣчать же за его карьеру, за его средства къ жизни, за его душу, за его умъ, умѣнье, знанье—имъ нечего: онъ будетъ жить точно такъ, какъ живутъ они оба, воспитается въ томъ же разнообразіи впечатлѣній труда, среди котораго они живутъ сами... онъ будетъ всѣмъ равенъ и одинаковъ со всѣми—мужикъ какъ и всѣ.»

Но тѣже впечатлѣнія Французской жизни, подавшія Успенскому поводъ къ подобнымъ сопоставленіямъ, въ очеркѣ «*Выпрямила*» являются передъ нами уже не

черезъ посредство Дюма, а передаваемыя устами Русскаго—нашего стараго знакомаго Тяпушкина (очеркъ составляетъ отрывокъ изъ его записокъ). Мы и узнаемъ тутъ этого стараго знакомаго—въ его впечатлительностью, съ дѣтства благопріобрѣтенною въ силу особенностей его развитія. Мы сожалѣемъ о томъ, что разсказъ этотъ помѣщенъ отдѣльно отъ тѣхъ отрывковъ изъ записокъ Тяпушкина, съ которыми мы познакомились подъ общимъ заглавіемъ «*Волей — неволей*», что онъ въ новомъ изданіи (въ прежнемъ его не было) помѣщенъ не вслѣдъ за ними (во 2-мъ томѣ), а особнякомъ, предварительно (еще въ 1-мъ). Дѣло въ томъ, что личность Тяпушкина, кажется намъ, проходитъ чрезъ всѣ эти отрывки едва ли не болѣе, чѣмъ у Пушкина личность Бѣлкина проходитъ чрезъ приписанныя ему повѣсти. Тяпушкинъ самъ по себѣ живое художественное лицо, вполнѣ удавшееся нашему автору. Это не мѣшаетъ ему въ то же время выражать и самого Успенскаго. Тяпушкинъ въ томъ очеркѣ, который насъ занимаетъ теперь, сопровождаетъ во время заграничнаго путешествія другого нашего знакомаго, г. Полумракова. Мы помнимъ, какъ онъ въ свое время искалъ нравственныхъ устоевъ, по крайней мѣрѣ цѣльности, въ Русской деревнѣ,—искалъ и не нашелъ не только первыхъ, но и второй (послѣдней, можетъ быть, потому, что былъ близорукъ). Теперь онъ ищетъ — если не нравственныхъ устоевъ, то хоть цѣльности — въ Западной Европѣ, и именно послѣднюю-то, кажется ему, и находитъ. «Посмотрите, говоритъ онъ при видѣ Англичанина, возсѣдающаго на своемъ велосипедѣ, точно на какомъ-нибудь

тронѣ: «одинъ видъ, одна «порода», которая видна въ немъ, скажетъ вамъ, что онъ органически *не можетъ* понять, что̀ такія за существа копошатся у колесъ его паукообразнаго инструмента. Онъ органически безжалостенъ къ нищетѣ, къ этимъ маленькимъ замореннымъ почернѣвшимъ отъ каменноугольнаго дыма человѣчкамъ.» Какъ опять не узнать тутъ милѣйшаго г. Полумракова? Удивительно только, какъ это онъ отказался отъ возможности обонять и ощупать ту же восхитительную цѣльность и въ знаменитыхъ Парижскихъ клоакахъ. «Но путеводитель, поясняетъ Тяпушкинъ, такъ расписалъ ихъ, что просто духъ захватило: можете представить, что однихъ (прошу извинить за неэстетическую картину) выкидышей человѣческихъ, которые плаваютъ тамъ въ этихъ смрадныхъ водахъ (извините, сдѣлайте милость), онъ считалъ десятками тысячъ.» Но Тяпушкинъ, разумѣется, далекъ отъ того, чтобы восхищаться вмѣстѣ съ Полумраковымъ какою-либо пресловутою *цѣльностью* житейскаго безобразія. Онъ бѣжитъ отъ нея, находя спасеніе въ другой цѣльности—въ цѣльности идеальной красоты. Онъ находитъ ее въ томъ же Парижѣ—среди тѣхъ произведеній искусства, какія собраны въ Луврѣ. Онъ находитъ ее въ Венерѣ Милосской, радуясь тому, что эту «каменную загадку» догадались во время Франко-Прусской войны спрятать въ дубовый ящикъ, чтобы не попалъ въ нее какой-нибудь кусокъ чугуна, пущеннаго «дуракомъ, наѣвшимся гороховой колбасы». Онъ, по его же словамъ, ровно ничего не понималъ, «по своему Тяпушкинскому положенію», въ античной скульптурѣ, однако же остановился, ошеломленный, передъ этой

Венерой Милосской и невольно сталъ въ нее вглядываться. Дѣло въ томъ, что чѣмъ болѣе онъ въ нее вглядывался, тѣмъ болѣе изъ-за этого, по господствующему обычаю античной скульптуры, неодѣтаго, хотя и не вполнѣ обнаженнаго образа, возставалъ въ воспоминаніяхъ его другой образъ—«дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа», выдѣляющейся на сѣромъ, темномъ фонѣ, въ чертахъ которой выражалась глубокая печаль—не о своемъ горѣ, гармонически слитая съ ея личною печалью; дѣвушки, посвятившей себя упорному умственному труду на помощь этому широкому горю, посвятившей себя ему подобно юношѣ, но въ то же время сохраняющей и все обаяніе своей женской природы. Изъ-за этого же образа выглядывалъ въ его воображеніи опять другой, когда-то представлявшійся ему въ видѣ деревенской бабы «съ подобранной юбкой, голыми ногами, съ этими граблями въ рукахъ, которыми она перебрасывала сухое сѣно справа налѣво, работала подобно мужику и въ то же время вполнѣ оставалась женщиной, «была такъ легка, изящна, такъ жила», *а не работала*, жила въ полной гармоніи съ солнцемъ, съ природой, съ вѣтерками, съ этимъ сѣномъ, со всѣми ландшафтами съ которыми были слиты и ея тѣло и ея душа.» Вотъ какіе образы, когда-то встрѣченные въ дѣйствительности, оживали передъ нашимъ наблюдателемъ и гармонически сливались передъ нимъ въ этомъ произведеніи древняго, вѣрнѣе же выразиться, вѣчнаго искусства. И какими пошлыми, къ тому же совсѣмъ невѣрными, представились ему тутъ стихи про ту же Венеру Милосскую отечественнаго поэта, въ которыхъ ея «смѣющееся тѣло»

выставляется «млѣющимъ нѣгою» и «кипящимъ страстью», что̀ свидѣтельствуетъ лишь о томъ, до какой степени самъ-то поэтъ сладострастно млѣлъ и чувственно раскисалъ передъ нею — въ силу того, что античное искусство признано разъ *поэтизированною чувственностью*, и это-то и заставляетъ преклоняться предъ нимъ поэтовъ и не поэтовъ сладострастниковъ, потому-то и проглядывающихъ въ этомъ искусствѣ то, въ чемъ оно поднималось выше, порывалось впередъ къ будущему одухотворенному взгляду на жизнь, до сихъ поръ недоступному для не вымирающихъ жрецовъ чувственности. «Если говорить о женской красотѣ, разсуждаетъ Тяпушкинъ, о красотѣ женскаго тѣла (такъ сказать въ прикладномъ, въ практическомъ смыслѣ), то ужь одно то, что Венера Милосская—калѣка безрукая, не позволяетъ поэту млѣть и раскисать; тутъ же въ корридорѣ, ведущемъ къ Венерѣ Милосской, вотъ вблизи тѣхъ другихъ «Венеръ», которыхъ тамъ такъ много, зритель, точно, можетъ размышлять по части наготы тѣла.» Если бы художникъ, создавшій Милосскую Венеру, продолжаетъ разсуждать Тяпушкинъ, имѣлъ въ виду то, что̀ усмотрѣлъ въ ней нашъ отечественный поэтъ, то что̀ бы заставило его «взять да и закутать ее чуть не всю, до самыхъ чреслъ?»... «Что̀ онъ далъ, спрашиваетъ нашъ наблюдатель, по части женской красоты— лицу, лбу, носу, выраженію глазъ?» Наблюдателю представляется даже, что и «завитки волосъ по угламъ лба» тутъ «почти мужицкіе». Онъ усматриваетъ въ статуѣ какую-то общую, не женскую и не мужскую, а человѣческую красоту. Художнику «нужно было, толкуетъ

онъ, и людямъ своего времени, и всѣмъ вѣкамъ, и всѣмъ народамъ вѣковѣчно и нерушимо запечатлѣть въ сердцахъ и умахъ огромную красоту *человѣческаго* существа, ознакомить человѣка—мужчину, женщину, ребенка, старика—съ ощущеніемъ счастія быть *человѣкомъ*, показать всѣмъ намъ и обрадовать насъ видимой для всѣхъ насъ возможностью быть прекрасными — вотъ какая огромная цѣль владѣла его душой и руководила рукой».

Такимъ-то образомъ Успенскій, во всемъ доискивающійся души, ея пробужденія и возстановленія, влагаетъ настоящую душу и въ античную статую, потому-то и говоря про ея дѣйствіе на наблюдателя, что она его «выпрямила». «Мысль о томъ, говоритъ онъ, когда, какъ, какимъ образомъ человѣческое существо будетъ распрямлено до тѣхъ предѣловъ, которые сулитъ каменная загадка, не разрѣшая вопроса, тѣмъ не менѣе рисуетъ въ нашемъ воображеніи безконечныя перспективы человѣческаго совершенствованія, человѣческой будущности и зарождаетъ въ сердцѣ живую скорбь о несовершенствѣ теперешняго человѣка». Но такое мрачное чувство сейчасъ же опять смѣняется свѣтлымъ: «желаніе выпрямить, высвободить теперешняго искалѣченнаго человѣка для этого свѣтлаго будущаго, даже и очертаній уже опредѣленныхъ неимѣющаго, радостно возникаетъ въ душѣ».

Рядъ настоящихъ очерковъ заканчивается въ томъ же ободрительномъ тонѣ святочнымъ разсказомъ «*Про счастливыхъ людей*». Разсказчикъ—отставной солдатъ—сообщаетъ тутъ не одинъ, а цѣлыхъ три разсказа, или, лучше сказать, сказки, на тему извѣстной пословицы,

что «дуракамъ счастье». Самъ онъ однако же думаетъ, что такое дурацкое счастье непрочно, и приходитъ къ выводу, который свидѣтельствуетъ о неодолимой бодрости народной души: «то счастье неизмѣнное, которое въ тебѣ самомъ лежитъ, а не со стороны бѣжитъ».

Подъ заглавіемъ «*Изъ путевыхъ замѣтокъ*» въ концѣ 1-го тома новаго изданія помѣщены два очерка: «*Пока-что*» и «*Вольные казаки*». Въ первомъ замѣчательны разсужденія встрѣтившагося автору по пути раскольника. «Давай намъ косу, борону, давай намъ швейную машину, давай косилку, прессъ, говоритъ онъ, соглашаясь, стало быть, и на нововведенія, но прибавляетъ одно условіе, чтобы изъ-за всего этого не приходилось отрываться отъ своей земли, вылетать изъ родного гнѣзда, «чтобъ человѣкъ жилъ дома, жилъ полнымъ порядкомъ, а въ машину его не преображай». Машина для человѣка, а не человѣкъ для машины, можно бы перефразировать его слова. «Тогда намъ не нужна твоя машина, заключаетъ онъ, ежели она душу человѣческую уѣдаетъ». То же самое передаетъ онъ и иносказательно. «Подъ землей, поэтизируетъ старикъ свою мысль, лежалъ желѣзный мертвецъ, трупъ бездыханный, а на землѣ жилъ живой человѣкъ. Только объявляется въ неизвѣстныхъ мѣстахъ нѣкоторый завистникъ... Пришелъ, на людей не поглядѣлъ, Богу не помолился, а прямо носомъ-то своимъ въ землю воткнулся... Воткнулся, и засверлилъ!... Стало мертвое желѣзо разогрѣваться, стало теплѣть, мякнуть, потянулось, разгорѣлось,—ожило... Поднялось оно изъ-подъ земли и заиграло! И проволокой вокругъ всего свѣта обвилось,

разговоры пошли по немъ безпрерывные, и побѣжало пароходами, вагонами, заиграло колесами на мельницахъ, на фабрикахъ застучало станками... А что же сталось съ живымъ-то человѣкомъ?.. Проволока, колеса, винты, станки и твои, другъ мой любезный, пиджаки вытащили его изъ своего дома, отняли его отъ хозяйства, приставивъ его холопомъ у винтовъ, у станковъ, при котлахъ и при печахъ!... Парни оторваны отъ дѣвокъ, дѣвки отъ парней, жены отъ мужей и дѣти отъ отцовъ и матерей! Каждый прикованъ къ своему, къ проволокѣ, къ винту, къ папироскѣ, къ печкѣ съ угольемъ, и отойти ему нельзя. Какъ отошелъ—такъ и ѣсть нечего... А желѣзо-то гуляетъ по всему свѣту, со всѣмъ свѣтомъ разговариваетъ. Вотъ ты и понимай, что̀ тебѣ дороже—пиджакъ или душа Христіанская?»

На мысль о «вольныхъ казакахъ», неимѣющихъ повидимому, ничего общаго ни съ машинною, ни съ какою-либо другою неволею, навелъ Успенскаго красующійся на Невскомъ проспектѣ портретъ «добраго молодца», атамана Николая Ивановича Ашинова. «Самое появленіе на бѣлый свѣтъ какого-то атамана, соображаетъ онъ, а главное, легенда о вольности, пущенная въ публику при помощи газетъ,—все это полуфантастическое, недостовѣрное на дѣлѣ, почти неосязаемое и неуловимое, тѣмъ не менѣе несомнѣнно доказываетъ, что въ Русскомъ обществѣ еще живъ духъ «удалыхъ добрыхъ молодцевъ», еще не замерла мечта о лодочкахъ съ вольными людьми-разбойничками и что жажда пожить и погулять на свѣтѣ внѣ стѣсненія какими бы то ни было формами общежитія еще довольно сильна

въ обществѣ, весьма уже похожемъ по внѣшнему виду на Европейское. Далѣе однако же слѣдуетъ разсказъ о подвигахъ такихъ «добрыхъ молодцевъ», такихъ вольныхъ казаковъ, съ которыми не разъ уже имѣлъ дѣло нашъ авторъ и которые вовсе уже не относятся къ области легенды, а, существуя самымъ положительнымъ образомъ, уживаются со всякими «существующими порядками». «Искать вольныхъ людей гдѣ-то въ Азіятской Турціи или въ Абиссиніи, говоритъ Успенскій, нѣтъ никакой надобности... Да и что́ бы тамъ въ Абиссиніи-то могли сдѣлать наши «добрые молодцы»? Тамъ песокъ да голый человѣкъ, а тутъ подъ бокомъ у насъ со всѣхъ сторонъ благодать, и балки, и лѣса, и земли, и «нѣдра»—и все!» Ясно, что призракъ «вольныхъ казаковъ» напомнилъ автору о вовсе уже не призрачныхъ современныхъ намъ «рыцаряхъ наживы». Они не останавливаются и передъ тѣмъ процентомъ, который взимается въ видѣ живыхъ людей—съ ихъ благомъ, ихъ честью, ихъ жизнью. Одного подобнаго хищника ярко рисуетъ намъ Успенскій въ томъ же самомъ очеркѣ о «вольныхъ казакахъ». «Звѣрь, говоритъ, ни передъ чѣмъ не задумался; два года убилъ онъ на то, чтобы слопать лакомый кусокъ и конечно слопалъ; мужъ несчастной женщины (Полякъ, сосланный послѣ 1863 г.) былъ сосланъ въ глубину какой-то непроходимой тундры, а жена, промучившись съ тираномъ полгода, отравилась и умерла.» И вдругъ въ душѣ этого звѣря пробуждается что-то человѣческое, когда къ нему приходитъ женщина, на рукахъ у которой осталось двое дѣтей загубленныхъ имъ мужа и жены, и которой не-

чѣмъ ихъ содержать. «Едва взглянулъ я на этихъ малютокъ, говоритъ онъ, какъ я разомъ почувствовалъ себя въ полной ихъ власти.... я чувствовалъ, что гдѣ-то въ могилѣ, въ мерзлой землѣ дрогнуло чье-то сердце, что оно стало теплое—и мое сердце тоже пробудилось. Вотъ съ этой-то минуты и начинается мое полное разореніе» (вспомнимъ, въ какомъ смыслѣ слово это употреблялось Успенскимъ въ его самыхъ раннихъ произведеніяхъ). И что же? всѣ усилія его, чтобы добиться возвращенія дѣтямъ ихъ же добра, ни къ чему не приводили. «Онъ натыкался на собственные свои доносы и понять не могъ звѣрства, которое находилъ въ нихъ. Оно становилось для него невыносимымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не могъ выносить и тѣхъ лицъ, съ которыми онъ раньше былъ въ союзѣ и въ дружбѣ. «Грабителя, подлеца, звѣря, восклицалъ онъ, развратника, попирателя божескихъ и человѣческихъ законовъ, поддерживали, хвалили, руку жали и угощали!... А когда меня посѣтилъ Богъ, когда во мнѣ Богъ, самъ Богъ....» Скуластое лицо его все въ слезахъ и сжатый кулакъ глухо колотитъ въ измученную грудь.»

Но авторъ обобщаетъ это положеніе человѣка, въ которомъ внезапно остепенилась колобродившая душа, но который еще не находитъ для себя пристани. «Злой и скверный, говоритъ Успенскій, грязный и знатокъ всякаго зла, грѣха и всякой своей и чужой подлости, самъ же проклинающій эту свою и общую подлость — вотъ и еще весьма примѣтный типъ въ толпѣ бродячихъ по Руси вольныхъ людей, «добрыхъ

молодцевъ», порожденныхъ періодомъ хищничества на Руси.»

Не позавидуешь этимъ духовнымъ бездомникамъ!

II.

Письма съ дороги.—Живыя цыфры.—Мимоходомъ.

Очерки, помѣщенные въ концѣ II тома новаго изданія сочиненій Успенскаго, въ серіяхъ, носящихъ эти заглавія, отличаются вообще тѣмъ, что авторъ является въ нихъ уже почти исключительно публицистомъ. Тутъ злоба дня заполонила его до того, что ему совсѣмъ уже некогда подумать о своемъ дарѣ художника. «*Письма съ дороги*» вызваны были путешествіемъ, которое онъ предпринялъ въ надеждѣ, что авось отъ этого «согрѣется и его душа, охладѣвшая въ ледяномъ домѣ, называемомъ Петербургомъ». Правду сказать, она и не думала у него охладѣвать и въ нашей сѣверной столицѣ, какъ не охладѣетъ она у него никогда и нигдѣ. Онъ скорѣе хотѣлъ отвести себѣ душу, теплую, но вѣчно болѣющую за человѣка душу, впечатлѣніями не столичной, или даже и вообще не городской, т. е. не заправской городской жизни. «Русская жизнь въ Петербургѣ, говоритъ онъ, это пакетъ съ просьбой, жалобой, мольбой, угрозой, стономъ и воплемъ. Въ пакетѣ она сюда является, въ пакетѣ отсюда выходитъ .. «Тайна и смыслъ жизни, поясняетъ онъ, идутъ изъ центра къ окружности, а не вливаются отъ окружности въ центръ, и жить поэтому въ Петербургѣ—это значитъ

не знать Русской жизни.» Дѣло въ томъ, что Петербургъ-то и является тѣмъ двигателемъ, которому служитъ «бумага», мудрящая надъ «человѣкомъ» и «природой» и самоуправно распоряжающаяся тѣмъ и другой, что̀ подробно излагается у Успенскаго въ очеркѣ 5-мъ: «*Человѣкъ, природа и бумага*». Авторъ направилъ свое путешествіе въ даль, на южную окраину, и плѣняется такимъ «милымъ мѣстомъ», какъ какой-нибудь Новороссійскъ. Онъ милъ ему потому, что туда, въ этотъ дальній край, «грѣховодникъ капиталъ пока еще не показывалъ своего носа, по крайней мѣрѣ въ своихъ подлинныхъ размѣрахъ, и не успѣлъ раздражить запахомъ своихъ приманокъ этой невинной земли и этого невиннаго воздуха». Приглядываясь къ дѣлу поближе, авторъ однако же замѣчаетъ: «а вѣдь пробирается таки, грѣховодникъ! Пробирается, анафема!.. Увы! дѣйствительно пробирается желѣзный червякъ!» То, какимъ образомъ описываются далѣе очевидные признаки приближенія этого червяка, уже прямо противоположно тому восторгу, съ какимъ наблюдалъ за постройкою первой большой желѣзной дороги въ Россіи идеалистъ Бѣлинскій, а гораздо позже его—одинъ изъ старѣйшихъ героевъ самого Успенскаго, не менѣе увлекавшійся Михаилъ Ивановичъ. Если авторъ озаглавилъ первый очеркъ той серіи, которая насъ теперь занимаетъ, «Веселыми минутами», то именно потому, что признаки приближенія червяка все же не очень кидаются тутъ въ глаза. Отрадное впечатлѣніе производитъ тутъ и встрѣченная Успенскимъ большая переселенческая партія, отличающаяся бодрымъ видомъ, пустившаяся въ путь-дорогу съ до-

статочнымъ запасомъ средствъ. «Это было уже, говоритъ онъ, новое, послѣреформенное поколѣніе крестьянъ: гораздо больше половины взрослыхъ были громотные, а подростки—грамотны всѣ.» Эти послѣреформенные люди именно такого покроя, какими бы, по первоначальному замыслу, должны бы они выйти и вообще. «Да, говоритъ Успенскій, это настоящіе *свободные* люди—именно *люди*, независимые вполнѣ, такъ какъ надъ ними нѣтъ даже ненавистнаго жида... Каждый изъ нихъ, выражаясь словами Кольцовской пѣсни, *слуга* самому себѣ и *хозяинъ* самого себя... т. е. человѣкъ, неналагающій ни на кого никакихъ путъ и самъ незапутанный никакими и ничьими путами.»

Но впечатлѣніе дальнѣйшихъ очерковъ уже иное. Прочитавъ ихъ, становишься какъ-то неувѣреннымъ и въ дальнѣйшей участи этихъ переселенцевъ, такъ радостно описанныхъ авторомъ—особенно послѣ всего того, что̀ говорится у него о мытарствахъ, чрезъ которыя проходило дѣло о заселеніи Черноморскаго побережья Кавказа (въ Очеркѣ: «*Человѣкъ, природа и бумаги*»). Во 2-мъ изъ очерковъ серіи авторъ переходитъ отъ Кольцовскаго идеала независимаго человѣка, воспроизведеннаго въ его памяти видомъ бодрыхъ и довольныхъ переселенцевъ, къ той печальной дѣйствительности, которую обрисовыетъ одинъ иностранный писатель (Летурно), говоря: «наемничество является *новою* язвой, смѣнившею язвы рабства и иныхъ былыхъ формъ *зависимости человѣка отъ человѣка*. Число бѣдняковъ, пролетаріевъ, съ каждымъ днемъ все растетъ и растетъ... какъ извѣстно, въ индустріальныхъ странахъ представители

труда зовутся обыкновенно не рабочими *людьми*, а просто на просто рабочими *руками*.» (И Успенскій пользуется этою терминологіею въ 9-мъ очеркѣ настоящей серіи озаглавивъ его: *Рабочія руки*). Да, пролетаріатъ ростетъ и ростетъ — даже и въ интеллигентной средѣ, гдѣ все болѣе и болѣе развива тся *наемничество пера*. Оно процвѣтаетъ именно тамъ, гдѣ печать по закону свободна и даже очень свободна. Въ прессѣ развивается этимъ путемъ своего рода *проституція*, ни мало неуступающая той заправской, одного изъ участниковъ и двигателей которой выставляетъ намъ Успенскій въ лицѣ гимназиста, неокончившаго курса по милости дядюшки, содержателя ресторана («Люди всякаго званія»). Съ этого и началась карьера юноши, который самъ тутъ и повѣствуетъ съ особаго рода наивностью о своихъ дальнѣйшихъ успѣхахъ. Взявъ втроемъ съ одной барыни, охотницы до ранней молодежи, двѣсти рублей, онъ поступилъ въ самую лучшую Ялтинскую гостиницу. «Собралось у меня, говоритъ юноша, денегъ восемьсотъ рублей; сошелся я съ поваромъ, сняли въ N лѣтній садъ. Привезъ я изъ Харькова 14 арфистокъ.» На бѣду, помѣшали сплошные дожди. «Пришлось бросить все—и просто бѣжать.» Направляясь теперь въ Е., онъ соображаетъ: «Три шантажа уже открыто и на счетъ женскаго пола тоже... пріѣзжихъ очень много. Можетъ быть и поправлюсь.» Это уже, во время путешестія по тѣмъ же дѣвственнымъ мѣстамъ, совсѣмъ не веселая, или же черезчуръ веселая встрѣча. Но попадается автору и другая—въ лицѣ того деревенскаго Донъ-Жуана, который описанъ въ очеркѣ «Мирошникъ». «Такъ

я-то чѣмъ виноватъ, оправдывается онъ. Коли бы нашему брату иногородному была земельная нарѣзка—ну въ то время я бы, можетъ быть, переломилъ бы себя какъ-нибудь на хлѣбопашество, слѣдовательно на законъ, т. е. въ бракъ бы долженъ. Ну, а какъ же я осмѣлюсь принять святой законъ напримѣръ Божій, ежели я вполнѣ округленъ безъ земли.» Тутъ, стало быть, соблазнъ является, какъ и часто у нашего автора, слѣдствіемъ невозможности жить спасительнымъ деревенскимъ трудомъ. Не чѣмъ инымъ, какъ нарушеніемъ нормальныхъ условій сельскаго быта, вторженіемъ въ него городской «цивилизаціи», глубокомысленно объясняется у Успенскаго и драма Л. Н. Толстого «Власть тьмы» во 2-мъ очеркѣ, хотя, правду сказать, нѣчто подобное (можетъ быть, не въ такихъ размѣрахъ) могло бы произойти и помимо нарушенія деревенскаго строя жизни—въ силу того преобладанія хозяйственнаго разсчета въ семейныхъ отношеніяхъ крестьянъ, о пагубности котораго говоритъ самъ Успенскій въ своей «Власти Земли».

Начавъ настоящую серію своихъ очерковъ, такъ сказать, *во здравіе*, Успенскій невольно сводитъ ее на то, чтобы кончить *за упокой:* И понятно. «Нѣсть числа, приходится ему все болѣе и болѣе замѣчать, въ этихъ благословенныхъ мѣстахъ толпамъ всякаго темнаго народа, идущаго «на рубль», какъ «на огонекъ». Всякій изъ этой толпы, поясняетъ онъ, «здѣсь чужой среди чужихъ, здѣсь онъ вѣритъ только въ рубль, и всѣ красивыя слова, которыя онъ говоритъ вамъ, всѣ только для того, чтобы не видна была (даже и ему самому)

его холодная, быть можетъ, только временно, но умершая во имя рубля душа». Неожиданный приливъ новыхъ тяжелыхъ впечатлѣній наводитъ автора на старыя мрачныя мысли—напримѣръ о томъ «*Обиліи дѣла*» (очеркъ 6-ой), которое давно уже представлялось ему сущимъ и вопіющимъ по своему жестокому смыслу бездѣльемъ. Прежде мы встрѣчались у него съ этимъ явленіемъ въ видѣ художественно очерченныхъ образовъ,—теперь встрѣчаемся съ нимъ въ видѣ простыхъ статистическихъ цыфръ. По приводимымъ у него даннымъ Глажевскаго волостного суда, оказывается, что «въ теченіе мѣсяца изъ 517 человѣкъ домохозяевъ высѣчено (за недоимки) 224 человѣка, т. е. безъ малаго наказана половина волости». Въ результатѣ же то, что сѣченные и видящіе впереди неизбѣжную перспективу новыхъ подобныхъ сѣченій срываютъ сердце на безгласныхъ членахъ своей семьи, особенно на несчастныхъ женщинахъ. «Что̀ удивительнаго, замѣчаетъ Успенскій, что человѣкъ начинаетъ просто-таки не понимать самого себя, не понимать своей семьи, считать жену и дѣтей злодѣями, извергами, которыхъ мало сжечь на огнѣ, заморозить на морозѣ, изодрать желѣзнымъ гвоздемъ, потому что они хотятъ жить, варить что-то въ печи, разговаривать, плакать, радоваться.» Теперь, какъ и прежде, настоящимъ дѣломъ представляется автору только забота о томъ, чтобы въ корнѣ уничтожить возможность подобныхъ явленій. Какъ неисправимый идеалистъ, онъ и въ очеркахъ этой новой серіи предается мечтаніямъ — вотъ такимъ напримѣръ: «почему бы не осуществить мысль о трудовой жизни (въ

нормальномъ смыслѣ слова) въ видѣ школы всесословной, изъ которой человѣкъ могъ бы выйти не въ работники куда нибудь и на кого нибудь, а прямо могъ бы сѣсть на этой же землѣ хозяиномъ». (Мысль эту онъ особо развиваетъ въ 10-мъ очеркѣ: «Трудовая жизнь» и «жизнь труженическая», сочувственно тутъ касаясь книги г. Тимощенкова «Борьба съ хищничествомъ»). Желая, что бы такая земледѣльческая школа стала всесословною, онъ надѣется при помощи ея привлечь къ настоящему дѣлу и тѣхъ, кто часто даже по неволѣ занимается теперь совершенно другимъ. «Если бы трудовая жизнь, говоритъ онъ, имѣла не такой ужасный видъ, какъ теперь, повѣрьте, что всѣ эти судебные пристава, становые, и т. д., и т. д., охотно бы предпочли жить на свѣтѣ въ качествѣ самостоятельныхъ хозяевъ и не показывали бы своей энергіи при описи крестьянскаго имущества, необходимой имъ для того, чтобы обезпечить свои семейства и чтобы не пустить своихъ дѣтей на толкучку продаваться въ работники.»

Авторъ, впрочемъ, хорошо понимаетъ, что многіе однако же такъ и не захотятъ *быть мужиками* — подобно тому извозчику изъ пляхтичей, который везъ его однажды и говорилъ: «у меня всѣ документы дворянскіе, такъ какъ же мнѣ за сохой-то ходить? Вотъ и сыновья тоже не согласны...» «Между тѣмъ, поясняетъ Успенскій, самый завалящій казакъ и самый обиженный судьбою мужикъ живутъ покойнѣе и лучше его. Но что прикажете дѣлать—«дворянская кровь препятствуетъ!» и старикъ, родившійся дворяниномъ, не хо-

четъ умереть мужикомъ, хотя завидуетъ ему въ глубинѣ души.»

Всѣмъ однако же все болѣе и болѣе становится «скучненько» (заглавіе очерка 7-го). «И я думаю, грустно замѣчаетъ авторъ, что долго, долго еще не выйдетъ ничего «въ самомъ дѣлѣ успокоительнаго и освѣжающаго» (а не только заставляющаго забыться, какъ всякіе концерты и спектакли, на которыхъ отдыхаетъ провинціальная пресса). «Ни очаровательному смычку г-жи Терезины Туа, ни восхитительному голосу г-жи Фостремъ не стереть и не изгладить съ души истинно интеллигентнаго и совѣстливаго Русскаго человѣка того пятна и язвы, которую онъ не можетъ не чувствовать ежеминутно, зная, что онъ виноватъ передъ «человѣкомъ». Авторъ съ своей стороны отдыхаетъ душой не на газетныхъ реляціяхъ о чьемъ-либо чудномъ смычкѣ или голосѣ, а напримѣръ на слѣдующихъ строкахъ, прочитанныхъ имъ въ «Донскомъ Листкѣ»: «Нищій (калѣка, ползающій съ помощью рукъ и колѣнокъ) снялъ изъ за плечъ свою суму, досталъ оттуда три куска бѣлаго хлѣба, три яблока и раздѣлилъ между тремя собратами по несчастью, а ребенку сверхъ того еще сунулъ что-то въ рученку» (тогда какъ мимо ихъ безчувственно проходили люди, можетъ быть, насладившіеся или собиравшіеся насладиться чьимъ-либо чуднымъ смычкомъ или упоительнымъ голосомъ).

Зато совсѣмъ уже, ни въ какомъ даже смыслѣ, не отведешь себѣ душу на тѣхъ впечатлѣніяхъ, о которыхъ говорится въ очеркѣ: «*Мелкіе агенты крупныхъ предпріятій*». Тутъ передъ нами цѣлый рядъ, такъ ска-

зать, народныхъ кровососовъ поневолѣ, далеко не всегда и смакующихъ что-либо въ своемъ ремеслѣ изъ за гроша. Описывая одного изъ нихъ, Успенскій говоритъ: «обязанность его должна состоять въ томъ, что онъ каждый Божій день съ ранняго утра и до поздняго вечера будетъ, какъ ястребъ за цыплятами, слѣдить за мужиками, привозящими въ станицу на продажу хлѣбъ; онъ будетъ ихъ убѣждать, усовѣщевать, божиться и клясться, орать, ругаться, тянуть за рукавъ, чтобы всячески оттянуть отъ агентовъ другихъ фирмъ, агенты которыхъ будутъ дѣлать то же самое, что́ и онъ». Болѣе смаковалъ, можетъ быть, свою выгодную профессію тотъ недавно судившійся аферистъ, о которомъ тутъ же вспоминаетъ Успенскій, говоря, что онъ «разъѣзжалъ по Русскимъ желѣзнымъ дорогамъ, разыскивалъ пострадавшихъ *отъ увѣчій* на желѣзнодорожной службѣ, бралъ отъ нихъ довѣренности, выговаривая въ свою пользу 50 процентовъ съ вознагражденія, которое онъ получитъ въ пользу своихъ кліентовъ съ желѣзнодорожныхъ обществъ», и у него оказалось «цѣлыхъ 360 штукъ такихъ довѣренностей».

Гораздо пригляднѣе тѣ картины, какія представляются намъ въ очеркѣ «*Рабочія руки*». Авторъ хочетъ тутъ показать, что пока чернорабочій уступаетъ у насъ капиталу именно *руки*—ну, и ноги тамъ, спину, но что пока еще «душу, совѣсть, мысль онъ еще не захватывалъ въ свои лапы такъ, какъ бы желалъ, дѣло его на Руси еще новое». Пока еще можно залюбоваться въ извѣстномъ смыслѣ тѣми молодыми крестьянскими дѣвушками, которыя чистили при авторѣ шерсть на фаб-

рикѣ, и въ которыхъ «было такъ много живой, женской красоты, изящества, молодости, живой игры жизни (онѣ и пѣли при этомъ), что представленіе о «работницѣ» совершенно изчезало въ удовольствіи видѣть такое обиліе энергіи жизни». Но не радуйтесь, читатель! «Эти триста дѣвушекъ, прибавляетъ Успенскій, еще только завязили коготокъ въ желѣзную лапу купона; но разъ коготокъ увязъ—такъ и всей птичкѣ пропасть. Много еще въ нихъ живой души, живой непочатой силы жить; но дальнѣйшій путь жизни ихъ нехорошъ: безъ всякой жалости расхититъ онъ и растащитъ живую душу.»

Въ послѣднемъ изъ очерковъ серіи: «*Трудовая жизнь и жизнь труженическая*» авторъ противопоставляетъ деревенской бабѣ городскую швею (не нашу только, но и всесвѣтную, надо думать). «Швея *только шьетъ*, говоритъ онъ; ни поднять тяжелаго ведра, ни пойти за скотиной въ поле, ни стряпать, ни ткать, ни прясть, ни жать,—ничего этого не нужно... А вѣдь положеніе швеи ужасно... Баба живетъ *вся*, а швея высосана нелѣпымъ строемъ жизни, истощена, какъ земля хищникомъ, который пять лѣтъ собираетъ съ нея только пшеницу, т. е. тоже — шей, шей, шей!» Потому-то Успенскій такъ и утѣшенъ нарисованными г. Тимощенковымъ образами богатаго крестьянина Захара Абрамовича Земли и пріятеля его, бывшаго уѣзднаго учителя Ивана Петровича Волги, что они всѣ свои средства и усилія употребляютъ на спасеніе окружающаго ихъ люда отъ всевозможной эксплуатаціи, на обезпеченіе за ними возможности здоровой трудовой, а не ка-

торжной труженической жизни». Нѣкоторая часть критики напала на автора за его увлеченье такими богачами крестьянами. Но Успенскій твердо вѣритъ въ возможность и хорошаго употребленія денегъ, и такая вѣра, кажется намъ, плодотворнѣе теоретическаго ратованія протихъ нихъ при отсутствіи практической думы о томъ, какъ бы, пока онѣ не отмѣнены, не давать имъ праздно залеживаться въ нашемъ карманѣ или жечь ихъ въ угоду своей теоріи (на самомъ дѣлѣ однако не жгутъ!), а направлять ихъ на выручку ближнему, его тѣла и его души, заполоненной тѣми же деньгами. Успенскій держится тутъ пословицы: «клинъ клиномъ», потому что онъ живой человѣкъ, а не заскорузлый теоретикъ. И благо ему! «Петровъ Ивановичей и Захаровъ Абрамовичей, вѣритъ онъ, на Руси несмѣтное множество и пренебрегать или обрекать теоретически на гибель какъ любовь такихъ оригиналовъ къ трудящемуся человѣку, такъ и любовь къ трудовой жизни едва ли возможно въ массѣ простыхъ Русскихъ людей, на нашихъ глазахъ едва только начинающихъ жить сознательно.

Ничто, можетъ быть, среди всѣхъ сочиненій Успенскаго не производитъ такого тяжелаго впечатлѣнія, какъ четыре очерка, собранные подъ заглавіемъ «*Живыя цыфры*». Въ первомъ и послѣднемъ очеркѣ это тѣ ужасающія статистическія цыфры, которыя представляются автору *живыми*, потому что въ нихъ заключена судьба живыхъ людей. При ничтожномъ количествѣ деревенскаго скота, послѣ того, какъ выведешь среднюю цыфру, можетъ дѣйствительно оказаться, что на отдѣльное хозяйство придется какая нибудь «четверть

лошади» (заглавіе перваго очерка), а это уже само по себѣ приводитъ къ тому, что и обладатель такого хозяйства будетъ сведенъ, наконецъ, на степень какой-то дроби, какого-то «ноля цѣлыхъ» (какъ озаглавленъ 4-й очеркъ). Послѣдствія «четверти лошади, чего никакъ и не нарисуешь», обращаются у Успенскаго въ такой вполнѣ осязательный образъ, какъ та баба, которая спѣшитъ къ мужу въ поле съ косою и обѣденнымъ горшкомъ въ рукахъ и довольно уже тяжеловатой дочуркой на плечахъ, услужливо привязанной къ нимъ постороннимъ мужикомъ, готовымъ бы подвезти ихъ, если бы было на чемъ, т. е. «если бы и самъ онъ не представлялся чѣмъ-то дѣленнымъ на десять». Бабѣ приходится сдѣлать такимъ образомъ цѣлыхъ двѣ версты, чтобы помочь мужу въ работѣ, сваливъ Пашутку куда нибудь и приказавъ ей спать, но поминутно прислушиваясь издалека, не плачетъ ли пострѣленокъ. Работа у нихъ—сѣнокосъ; надо спѣшить,—того и гляди, дождь пойдетъ. «Когда продадутъ сѣно, тогда вотъ можно будетъ «обдумать на счетъ лошади». Между тѣмъ «вывезти сѣна будетъ не на чемъ, а ежели урожай сѣна будетъ великъ, то, пожалуй, на мѣстѣ придется его продать такъ дешево, что «обдумать» лошадь можно будетъ уже не ранѣе, какъ еще черезъ годъ». Не правъ ли авторъ, говоря, что и сами они, эти хозяева обращаются въ какія-то хозяйственныя дроби. Но и они далеко превзойдены въ смыслѣ мелкоты тѣмъ «какимъ-то воздушнымъ человѣчкомъ», который является у автора подъ кличкою «ноля цѣлыхъ». Этотъ, по его словамъ, «платитъ съ пуста». Онъ отъ земли отказался,

потому что она—болото, и пробирается въ своемъ сквозномъ полушубкѣ въ самый трескучій морозъ на заработокъ въ Питеръ—«по балетной части... машины двигать».

Во второмъ и третьемъ очеркѣ: «Квитанція» и «Дополненіе къ разсказу «квитанція»—живою цыфрою представляется значащійся на квитанціи номеръ. Онъ живъ, не смотря на то, что, выданный на живого младенца при принятіи его въ воспитательный домъ, могъ бы предоставить матери, какъ она думаетъ, только возможность проститься съ *тѣломъ* младенца, отправляемымъ теперь съ гигіенъ-станціи на Преображенское кладбище; номеръ этотъ *живъ* потому, что въ немъ заключено *все*, *оставшееся ей отъ ребенка*, послѣ того какъ оказывается, что если бы даже она не опоздала на поѣздъ, ей бы не пришлось попрощаться съ ребенкомъ, такъ какъ тѣло его сдано на машину уже подъ другимъ номеромъ. Несчастной женщинѣ остается только, потерявъ въ попыхахъ и этотъ дорогой номерокъ, не опоздать, по крайней мѣрѣ, туда, куда ее послали съ картономъ—къ заказчицѣ барынѣ, которая можетъ на нее пожаловаться, а, вѣдь, отъ такихъ жалобъ можно, пожалуй, остаться и безъ куска хлѣба. Встрѣча съ этою женщиной наводитъ автора на самыя грустныя соображенія о воспитательныхъ домахъ, являющихся, повидимому, такимъ благодѣяніемъ для всякой такой матери, «которой надобно, если она хочетъ пить-ѣсть, свалить своего ребенка въ корзинку съ другими такими же секретными дѣтьми и отправить ихъ въ Москву». Авторъ упоминаетъ послѣднюю, такъ какъ, по стати-

стическимъ даннымъ, въ ней то и оказывается наибольшая годовая цыфра такой живой клади (17.000), что́ объясняется центральнымъ желѣзнодорожнымъ положеніемъ Москвы. «Но вѣдь для 26.000 дѣтей (общая цыфра поступленія ихъ въ обѣихъ столицахъ), по замѣчанью Успенскаго, требуется и 26.000 *кормилицъ*. Такимъ образомъ для этихъ брошенныхъ дѣтей надо, чтобы еще и другія 26.000 матерей тоже бросили бы своихъ собственныхъ 26.000 дѣтей и оставили ихъ также безъ материнскаго молока. «Но этого мало. Неумолимый къ читателю авторъ обращаетъ его вниманіе и на то, что «при распространеніи въ фабричномъ населеніи проституціи и сифилиса, естественно, что въ этихъ десяткахъ тысячъ выброшенныхъ имъ дѣтей не малое количество такихъ, которыя родятся зараженными этою болѣзнью. И вотъ отъ нихъ, этихъ больныхъ дѣтей, заражаются наемныя кормилицы; эти кормилицы, возвращаясь въ деревню, заражаютъ собственныхъ дѣтей, и такимъ образомъ гибельная болѣзнь широко раздвигаетъ предѣлы своего владычества въ народной средѣ». Производимое всѣмъ этимъ впечатлѣніе смѣло можетъ поспорить съ тѣмъ, которое остается отъ знаменитыхъ Парижскихъ клоаковъ и того, что̀ въ нихъ плаваетъ...

Сквозь серію «живыхъ цыфръ» своего рода красною нитью проходитъ у Успенскаго тотъ «романъ графини Лиды», который еще такъ недавно приводилъ у насъ многихъ въ своего рода телячій восторгъ. Эта та самая, дѣйствительная или мнимая, графиня Лида, которая питала будто бы такую возвышенную либовь къ покой-

ному Надсону, и сторону которой принимали противъ поэта нѣкоторые изъ его же поклонниковъ, находившіе, что онъ въ своихъ отвѣтныхъ письмахъ обнаруживалъ какое-то черствое неумѣніе имъ нехотѣніе ее оцѣнить. Успенскій, говоря объ этомъ романѣ, мѣстами даетъ поводъ думать, что и онъ увлеченъ имъ, подобно многимъ. «Какъ художественное произведеніе, говоритъ онъ, романъ графини Лиды тѣмъ и привлекателенъ, что въ немъ рисуется передъ вашимъ воображеніемъ образъ человѣка, живущаго полною жизнью, безъ прорѣхъ, пустыхъ мѣстъ, и читателю нельзя не любоваться этимъ художественнымъ образчикомъ жизни, ничѣмъ не стѣсненной, не притиснутой, не поставленной малѣйшимъ образомъ въ какое нибудь ложное положеніе и дающей волю духовной дѣятельности раскрываться и развиваться во всей полнотѣ». Только читая далѣе начинаешь понимать, что все это должно однако же разрѣшиться убійственною ироніей. Успенскій противополагаетъ графинѣ крестьянскую молодую женщину Марфу, и постепенно склоняетъ васъ на сторону послѣдней. «И Марфа, говоритъ онъ, умѣетъ пѣть, и она до седьмого часу отлично отплясывала на вечеринкахъ, а рыбу и раковъ они теперь съ мужемъ ловятъ каждое лѣто и при томъ даже совсѣмъ «безъ сапожекъ»; умѣетъ и она приготовить, въ 1-хъ «маленкій ленчъ» въ четыре часа утра, потомъ въ рабочую пору, «настоящій» ленчъ въ девять часовъ, потомъ полдникъ, потомъ ужинъ *); умѣетъ и она привлекать сердца «большихъ мальчиковъ»; только деревенскіе. «большіе мальчики»

*) Было бы только изъ чего.

худа ей не смѣютъ сдѣлать» (Марфа умѣетъ за себя постоять и отдѣлаетъ такъ, что не поздоровится). «Словомъ все, что̀ можетъ проявить въ жизни богато одаренная натура героини романа, все проявляетъ и Марфа, съ тою только разницею, что ея полнота жизни неразрывно и во всѣхъ подробностяхъ слита во-первыхъ съ жизнью мужа, а во-вторыхъ далеко не отдѣлена отъ жизни общественной, мірской, въ которой она участвуетъ своей мыслью и своей заботой.»

Что̀ касается графини Лиды, то Успенскій ядовито подстерегъ въ ея письмахъ «прозаическую фразу: *жалѣю очень, что мы не мильонеры;* мужъ бы тогда не служилъ и не оставлялъ бы меня» (онъ 8 мѣсяцевъ въ году проводитъ внѣ дома). Все, стало быть, зависитъ отъ того, чтобы были *большія средства*, тогда и дѣти ихъ современемъ заживутъ всею *полнотою жизни*. Дѣти?.. да они вѣдь не уѣзжаютъ съ отцомъ, но изъ писемъ ея къ поэту какъ-то не видно, чтобы забота о о нихъ особенно входила *въ полноту* ея жизни. *А общественные интересы*? Много ли отзывается она на нихъ въ письмахъ къ тому поэту, который весь свой короткій вѣкъ только и жилъ, что *общею* жизнью? Чуетъ ли она, можетъ ли она чуять, въ чемъ заключается *душа* поэзіи Надсона, она, въ жизни которой является, наконецъ, и поэтъ—ради *полноты*, то есть, чтобы ни въ чемъ недостатка не было, но является, вовсе не пополняя духовную *пустоту ея полноты*. Вспомнимъ, что постоянно намекая ей на то, что онъ уже не жилецъ въ этомъ мірѣ, онъ не встрѣчаетъ съ ея стороны какого нибудь вниманія къ такимъ наме-

камъ, не встрѣчаетъ потому, что она только порхаетъ воображеньемъ вокругъ него и вовсе не способна углубиться мыслью въ его душу, въ его судьбу? Такъ не правъ ли Успенскій, говоря, что отдаетъ преимущество своей Марфѣ, такъ какъ сознаваемая ею «неразрывность интересовъ семьи съ «міромъ», обществомъ, окончательно помрачила предъ нимъ очарованіе того самаго фонарика *), откуда видна вся кипучая (?) жизнь Петербурга и гдѣ вѣетъ опахало, привезанное морякомъ, который имѣетъ смѣлость, и т. д.».

«*Мимоходомъ*»—вотъ какимъ заглавіемъ связаны тѣ два очерка, которыми завершается новое изданіе сочиненій Успенскаго. Между тѣмъ ихъ нельзя читать только *мимоходомъ*, а они заслуживаютъ полнаго вниманія, находясь въ тѣснѣйшей связи съ основными мыслями автора. «Паровой цыпленокъ — разсказъ, пригодный для напечатанія только на святкахъ», какъ помѣтила одна редакція **)—невольно напомнилъ намъ одинъ изъ глубокомысленнѣйшихъ разсказовъ Успенскаго — разсказъ о томъ дьяконѣ, страдающемъ запоемъ, котораго докторъ лѣчилъ желѣзомъ и который все добивался другого лѣченія—для души. И въ «паровомъ цыпленкѣ», какъ это ни странно, рѣчь идетъ о той же душѣ. Разсказъ о цыпленкѣ вызванъ разсужденіями объ одномъ кабатчикѣ, бросившемся подъ поѣздъ желѣзной дороги. «Душу бѣдняга свою погубилъ», замѣчаетъ одинъ изъ бесѣдующихъ. «Какую душу»? спрашиваетъ молодой

*) Т. е. дома графини Лиды.

**) Та, разумѣется, которая въ свое время воспользовалась этимъ разсказомъ.

помощникъ смотрителя станціи; какая душа? что̀ за чепуха.» И вотъ вразумить его берется курятникъ: «есть она, братцы, душа—то, есть она! Вотъ что̀ я скажу,— а не «чепуха». Онъ затѣмъ приводитъ доводы, заимствуемые имъ у своей профессіи. Онъ признаетъ и «куриную душу», указывая на то, что «паровой цыпленокъ— вотъ онъ такъ бездушный. Души въ немъ нѣтъ, — и не плодится! Вотъ въ чемъ дѣло.» Служа на паровомъ цыплячьемъ заводѣ, онъ вспоминаетъ, какъ бывало они промѣнивали у бабъ паровыхъ цыплятъ на яйца. «Дашь бабѣ курочку и пѣтушка... и сначала брали... А потомъ вдругъ и не берутъ... Всѣ бабы въ одинъ голосъ завопили: «не несутся вапи машинныя куры» — и все тутъ... И рыбье дѣло тоже: машинная заводская рыба— теперь вотъ выростить ее искусственнымъ манеромъ можно, а потомства нѣту!... Вотъ ты и думай, какая тутъ премудрость!.. Температура тутъ существуетъ— потому что горячей водой, паромъ дѣйствуетъ. А души нѣтъ!» Все, что̀ далѣе говорится курятникомъ—о проявленіи въ настоящей птичьей природѣ *души*, *совѣсти*, свидѣтельствуетъ, конечно, о смутности его понятій о томъ, что̀ такое *душа*, *совѣсть*, о тѣхъ признакахъ той и другой, которые присущи лишь человѣку. Но полною смысла всетаки остается сущность мысли курятника,— что невозможно создать самодѣльнымъ машиннымъ путемъ настоящую жизнь, *живую полную жизнь*...

Но если машина не въ силахъ создать *душу живу*, то она, увы! умѣетъ ее убивать. Къ этой своей постоянной мысли Успенскій возвращается и въ своемъ послѣднемъ очеркѣ: «*Не все коту масляницу*.» Подъ

котомъ разумѣется у него тутъ та же машинная грѣховодническая сила, которой онъ съ особеннымъ удовольствіемъ сулитъ тутъ, на основаніи одной иностранной ученой брошюры, грядущую впереди гибель—т. е. гибель именно ея *грѣховодничеству*. Сила эта, какъ онъ объясняетъ,—въ *паровомъ двигателѣ*, который «сдѣлалось возможнымъ ставить по произволу тамъ, гдѣ это выгодно и удобно, гдѣ дешевъ подлежащій обработкѣ матерьялъ и гдѣ дешевъ мужикъ съ бабой». Вотъ этимъ-то двигателемъ и завладѣлъ, какъ выражается Успенскій, купонъ. «Дана ему (т. е. купону), въ полное распоряженіе не случайная какая нибудь сила животнаго, воды или вѣтра—а вѣчная, неизмѣнная, увеличиваемая и уменьшаемая по произволу «сила солнечнаго луча», сила употребляемая тамъ, гдѣ надо, гдѣ удобно, когда надо и когда удобно. Получивъ этотъ драгоцѣнный даръ, господинъ купонъ получилъ и возможность повелѣвать этой силой, заточивъ ее въ машину—двигатель, а соединя этотъ неустанный двигатель съ машиною орудіемъ, онъ замѣнилъ устающія руки человѣческія желѣзными неустающими руками, не покладающими своихъ желѣзныхъ пальцевъ ни на одно мгновеніе!»

Собственно заполоненіе двигателя купономъ и обратило этотъ двигатель въ орудіе грѣховодничества. Вся задача и заключается теперь въ томъ, чтобы изъять его изъ власти злодѣя купона, чтобы сдѣлать его общедоступнымъ. Давно уже мечталъ объ этомъ, напоминаетъ Успенскій, самоучка-механикъ. «Долго мучительно бился онъ надъ своимъ «вѣчнымъ двигателемъ», всякій

разъ оканчивая дѣло домомъ умалишенныхъ. Но такъ какъ въ его мечтаніяхъ говорила чистая мысль человѣческая, исходившая изъ чистаго и любящаго сердца то онъ и былъ совершенно правъ въ своихъ мечтаніяхъ. *Какъ онъ думалъ, такъ теперь и сбывается на дѣлѣ, слово въ слово*». Вотъ тутъ-то и прибѣгаетъ авторъ къ брошюрѣ Энгельмейера. «Домашній пособникъ», о которомъ мечталъ механикъ самоучка, толкуетъ на ея основаніи Успенскій, на техническомъ языкѣ называется *аккумуляторъ*». Это—«аппаратъ, умѣющій сохранить въ себѣ силу, введенную въ него извнѣ какимъ бы то ни было образомъ и способомъ... Онъ позволяетъ переносить и перевозить эту силу куда понадобится по произволу.... *Передача силы путемъ развозки въ аккумуляторахъ* еще не вышла изъ сферы опытовъ, но намъ, чернорабочимъ, радостно знать и о тѣхъ опытахъ, которые дѣлаются и которые несомнѣнно увѣнчаются полнымъ успѣхомъ». Успенскому уже представляются вслѣдствіе этого впереди самыя радужныя перспективы, причемъ онъ подкрѣпляетъ свои надежды словами цитуемаго Энгельмейеромъ одного изъ гуманнѣйшихъ техническихъ авторитетовъ, Ф. Рело: «мелкій ткачъ былъ бы освобожденъ отъ перевѣса капитала, если бы мы могли ему дать для его станка нужную ему часть движущей силы». Онъ могъ бы тогда оставаться у себя, какъ могли бы не порывать связей со своими, съ роднымъ гнѣздомъ, и всякаго рода мелкіе труженики. «Все, слава Богу, понемногу сбывается, говоритъ Успенскій, но.., прежде чѣмъ все это сбудется, купонъ натворитъ еще пропасть всякаго грѣха...» Только это бу-

детъ уже его послѣдняя злоба. Рано или поздно проволочка съ аккумуляторомъ «проткнется сквозь стѣну мужицкой избы, такъ ли, сякъ ли, познакомитъ человѣка съ облегченнымъ трудомъ, съ правомъ дать отдохнуть и тѣлу, и душѣ».

Такою-то свѣтлою надеждою заключаются въ новомъ изданіи сочиненій Успенскаго его кровныя, нескончаемыя заботы о томъ, чтобы человѣческая душа въ самомъ дѣлѣ вышла, наконецъ, на свободу, зажила не по антихристову, а по Божески!

III.

Н. К. Михайловскій о Г. И. Успенскомъ.

> «Прежде онъ, во имя духа жизни и правды, говорилъ дерзости духу времени, а теперь доходитъ въ этомъ отношеніи до того, что вызываетъ грозные окрики: «до чего договорился Глѣбъ Успенскій.»

Мы умышленно выписываемъ эти слова отдѣльно, въ видѣ эпиграфа. Ими г. Михайловскій попалъ въ самую точку, опредѣлилъ не только характеръ сочиненій Успенскаго, но и его собственный нравственный характеръ. Столько же правъ критикъ и въ томъ, что не признаетъ нашего писателя тѣмъ отъявленнымъ *пессимистомъ*, какимъ считаютъ его многіе. Пессимизмъ есть уже прямолинейность, а именно ея-то и нѣтъ у Успенскаго. «Для безъисходно-мрачнаго взгляда на жизнь слишкомъ великъ запасъ смѣха, которымъ онъ вла-

дѣетъ», говоритъ про Успенскаго г. Михайловскій. Критику не особенно хотѣлось бы употреблять избитое выраженіе: «смѣхъ сквозь слезы», но онъ полагаетъ, что оно въ самомъ дѣлѣ можетъ быть отнесено къ Успенскому, къ нему, какъ ни къ кому другому во всей Русской литературѣ. Смѣхъ Успенскаго, поясняетъ онъ, «это не только не безпредметное зубоскальство, довольствующееся смѣшными положеніями или даже смѣшными словами» (чтó само собой разумѣется), «но это и не рѣзкіе удары сатирическаго бича, и не капризныя, кокетливо истерическія арабески изъ грусти и веселья, слезъ и смѣха, какія бываютъ у чисто художественныхъ натуръ типа Гейне. Это совсѣмъ особенное, оригинальное, лично Успенскому принадлежащее, сочетаніе комическаго и трагическаго».

Мы тѣмъ рѣшительнѣе налегаемъ на эту сторону отзыва г. Михайловскаго, что видимъ въ немъ пополненіе пробѣла, несомнѣнно оказывающагося въ нашемъ собственномъ отзывѣ. Обращаемъ особенное вниманіе читателя на объясненіе съ этой стороны очерка: «Нужда пѣсенки поетъ», слишкомъ мало нами затронутаго, какъ и на приглашеніе г. Михайловскимъ, обращенное къ тому же читателю, разсмотрѣть именно съ этой стороны другіе очерки Успенскаго, особенно нѣкоторые, прямо и поименовываемые критикомъ. Мы полагаемъ, однако же, что Успенскій не пессимистъ не потому только, что у него слишкомъ большой запасъ того углубленнаго смѣха, о которомъ говоритъ критикъ, но и потому, что у Успенскаго слишкомъ много—не только *любви* къ человѣку (*она* несомнѣнно имѣется и въ настоящемъ, такъ

называемомъ пессимизмѣ), но и *вѣры* въ человѣка—въ неистребимость его достоинства, въ ту устойчивость этого человѣческаго достоинства, которая должна же наконецъ все побѣдить. Самъ Успенскій, думается намъ, едва ли вполнѣ сознаетъ и цѣнитъ въ себѣ тотъ запасъ смѣха, какимъ онъ одаренъ, какъ художникъ, несомнѣнный художникъ. Вотъ почему, можетъ быть, нашему критику и пришлось пожалѣть о тѣхъ пропускахъ, которые сдѣланы теперь авторомъ въ своихъ сочиненіяхъ. «Вычеркнуты, замѣчаетъ критикъ, главнымъ образомъ «смѣшныя» вещи». Между тѣмъ самъ же г. Михайловскій и объясняетъ сдѣланные Успенскимъ пропуски тѣмъ, что онъ «все-таки нашелъ у себя самого много лишняго», тогда какъ именно у него-то ничего «лишняго» и не оказывается. «Авторъ, говоритъ г. Михайловскій, пожелалъ для отдѣльнаго изданія еще болѣе сжаться въ своемъ художественномъ аскетизмѣ.»

Этотъ «художественный аскетизмъ» Успенскаго опять вполнѣ вѣрно замѣченъ въ немъ критикомъ, справедливо усматривающимъ связь между этимъ «художественнымъ» аскетизмомъ и тѣмъ, который присущъ его основному взгляду, его нравственному характеру. *Художественный* аскетизмъ Успенскаго вполнѣ одобряется критикомъ, который говоритъ о немъ весьма подробно. Критикъ оригинально сравниваетъ сочиненія Успенскаго съ крѣпкимъ бульономъ, «который можетъ приходиться по вкусу однимъ и не нравиться другимъ, но ужь навѣрное не разбавленъ водой. Успенскій есть художникъ-аскетъ, отвергнувшій всякую роскошь, все, не ведущее прямо къ цѣли». Намъ кажется, что, насколько это ка-

сается анализа характеровъ, то Успенскій въ этомъ отношеніи подчасъ заходитъ даже слишкомъ далеко, такъ какъ бо́льшая тщательность только бы привела его ближе къ цѣли.

Совсѣмъ другое дѣло отмѣченное критикомъ почти полное отсутствіе у Успенскаго *пейзажа*, не смотря на то, что по мѣсту дѣйствія этотъ послѣдній могъ бы даже невольно навязываться Успенскому. «Это не значитъ, поясняетъ критикъ, чтобы онъ не чуялъ природы, не понималъ ея красотъ. Но онъ аскетически строгъ въ своихъ требованіяхъ отъ пейзажа.» Это не то, что̀ Тургеневъ, у котораго, по замѣчанію г. Михайловскаго, «пейзажи стоятъ совершенно отдѣльно сами по себѣ, производятъ и въ намѣреніи автора должны производить самостоятельное эстетическое впечатлѣніе». Совершенно напротивъ того для Успенскаго «пейзажъ самъ по себѣ, отдѣльно взятый, какъ бы онъ ни былъ красивъ, не имѣетъ цѣны, въ него должна быть вложена душа художника, его подлинное «міросозерцаніе», то, что̀ его дѣйствительно въ данную минуту занимаетъ вообще и въ житейскихъ дѣлахъ въ частности». Для образца приводится критикомъ «одно изъ крайне рѣдкихъ у Успенскаго описаній природы въ «Письмахъ съ дороги»,—а именно описаніе Кавказскаго хребта со всею его красою. «И сейчасъ же, поясняетъ критикъ, непосредствено за этой попыткой нарисовать пейзажъ, является «грѣховодникъ капиталъ» въ видѣ нефтепровода, который всю эту, очень впрочемъ слегка намѣченную красоту разными способами испакоститъ.» Сама же по себѣ, прибавимъ мы, никакая красота природы, при видѣ

пакостей жизни, не служитъ автору ни малѣйшимъ отдыхомъ отъ нихъ, ни малѣйшимъ за нихъ вознагражденьемъ. Даже Байронъ отдыхалъ отъ людей на такъ называемомъ лонѣ природы. Нашему автору не найти никакого другого отдыха — кромѣ непокидающей его вѣры, что въ жизни людской когда-нибудь да осуществится настоящій идеалъ человѣка. Его-то онъ спитъ и видитъ, или, вѣрнѣе сказать, не спитъ, томится, волнуется отъ страстныхъ порывовъ къ его осуществленію. Оттого-то опять и правъ г. Михайловскій, говоря, что «едва ли найдется много писателей, которые, при такой плодовитости, расходовали бы столько крови сердца, какъ Успенскій. Онъ не пишетъ, не сочиняетъ, а живетъ съ перомъ въ рукахъ». Этимъ, конечно, опять объясняется тотъ же его не только художественный, но и всяческій аскетизмъ. «Подобно неофиту въ извѣстной бѣгунской пѣснѣ, удаляющемуся въ пустыню, образно выражается г. Михайловскій, онъ отвергаетъ «цвѣтное платье» и «свѣтлую палату», черная схима ему дороже цвѣтного платья. Расходъ красокъ и линій онъ сокращаетъ до послѣдняго *minimum'a*, довольствуясь, если не схимой, такъ схемой (простите невольный каламбуръ), ибо все остальное — лишняя роскошь...» Тутъ оказывается уже несомнѣнная связь между аскетомъ-художникомъ и аскетомъ-человѣкомъ. «Аскетическое отношеніе Успенскаго, говоритъ г. Михайловскій, къ пейзажу, къ физіономіямъ дѣйствующихъ лицъ и т. п., есть дѣло формы, но она вполнѣ соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ аскетическимъ чертамъ въ самомъ содержаніи его писаній. Облекаясь въ «черную схиму», какъ художникъ, онъ и

какъ публицистъ и какъ мыслитель нерѣдко зоветъ насъ въ родѣ какъ бы въ пустыню.»

Тутъ представляется важнымъ и тотъ подробно трактуемый у г. Михайловскаго разсказъ объ антихристѣ, который вставленъ Успенскимъ въ очеркъ: «Безъ своей воли». Сущность легенды въ томъ, будто бы у какого-то Восточнаго князя завелся поваръ, оказавшійся благодѣтелемъ простого бѣднаго люда. Ходилъ онъ постоянно въ бѣлыхъ перчаткахъ, но когда его заставили ихъ снять, у него на одной рукѣ оказалось копыто, а на другой когти. Такимъ образомъ всѣ князья и султаны, собравшіеся на обѣдъ къ владѣльцу этого повара, и должны убѣдиться, что онъ Антихристъ. Но «народъ, помня благодѣянія повара, выберетъ его княземъ, но вмѣсто ожидаемыхъ милостей онъ съ перваго же дня обнаружитъ необузданную жестокость. Въ особенности плохо придется тѣмъ, у кого руки окажутся «чистыми, нѣжными, безъ мозолей, т. е. безъ этихъ копытъ и когтей...» *) «Чтобы спастись отъ гибели, всѣ бѣлоручки начнутъ хвататься руками за землю, начнутъ рыть ее, и все-таки будутъ гибнуть.» А такъ какъ и у мужиковъ мозоли будутъ проходить (отъ хорошей жизни, которую антихристъ устроилъ имъ, будучи поваромъ), то вслѣдъ за бѣлоручками, уничтоженными по повелѣнью Антихриста, станутъ уничтожать и обѣлорученныхъ мужиковъ. Потомъ начнется пожаръ земли, вескресеніе мертвыхъ, страшный судъ.»

---

*) Это нѣсколько напоминаетъ конецъ сказки Л. Н. Толстого объ Иванѣ дуракѣ (въ 12-мъ томѣ).

Намъ представляется не совсѣмъ понятнымъ, почему Антихристъ преслѣдуетъ бѣлоручекъ, и не только бѣлоручекъ съизмала, но даже и мужиковъ, становящихся бѣлоручками; вѣдь такими они становятся именно вслѣдствіе имъ же распространяемой среди нихъ «хорошей жизни», т. е., по основному смыслу легенды, совсѣмъ *не хорошей*, жизни *широкой*, заражающей ихъ развратомъ тѣхъ же бѣлоручекъ, конечно, и нужнымъ ему, Антихристу. Гораздо яснѣе по-нашему смыслъ того Иранскаго сказанія, которое приводится г. Михайловскимъ ради сходства его съ легендою, приводимою у Успенскаго. Къ нечестивому Дахаку опредѣляется тутъ поваромъ самъ Ариманъ. Онъ пріучаетъ Дахака къ мясной пищѣ, тогда какъ до тѣхъ поръ люди питались только растительною. «Дахакъ былъ очень доволенъ такимъ гастрономическимъ нововведеніемъ, но когда однажды поваръ Ариманъ поцѣловалъ царя въ оба плеча, то изъ тѣхъ мѣстъ, куда пришлись поцѣлуи, выросли двѣ змѣи, и поваръ изчезъ. Змѣй отрѣзали, но онѣ опять выросли, и опять, и опять. Тогда поваръ вновь появился, но уже въ видѣ врача, и посовѣтовалъ смирить змѣй человѣческимъ мозгомъ.» Тутъ свой символизмъ и даже глубокомысленный. Мясная пища, связанная съ убійствомъ животныхъ, доводитъ наконецъ и до человѣкоубійства. Не говоря уже о томъ, что и сама по себѣ это кровавая пища,—она представляется тутъ излишествомъ, роскошью, а это и дѣлаетъ пользующихся ею высасывающими кровь, питающимися мозгомъ другихъ людей. Если бы можно было доказать, справедливо замѣчаетъ г. Михайловскій, что въ основѣ легенды,

приводимой у Успенскаго, лежитъ та же мысль (мы полагаемъ, что это несомнѣнно и что въ легендѣ эта мысль только искажена),—«то стало бы вмѣстѣ съ тѣмъ понятно, что постоянно звучащей въ Успенскомъ аскетической струнѣ симпатична легенда объ Антихристѣ». Г. Михайловскій прямо и переходитъ отъ этого къ очерку: «Перестала», въ которомъ оказывается, что «намъ нужна запряжка, чтобы дохнуть некогда было». Это говоритъ тутъ крестьянинъ Михайла, умудренный опытомъ съ своей бѣлоручкой женой, а равно и совѣтами умной Артамоновны, по словамъ которой: «потруднѣй, такъ и повеселѣй». Въ трудѣ—стало быть—полнота жизни. Но «ёсть, справедливо замѣчаетъ г. Михайловскій, трудъ и трудъ; трудъ, благотворный для трудящихся, и трудъ губительный; трудъ прекращающій мучительную драму всяческаго разстройства, и трудъ—источникъ этой драмы». Въ силу того, что Успенскій превозноситъ перваго рода трудъ, «для него, по мѣткому замѣчанію г. Михайловскаго, Magenfrage, какъ сказалъ бы Нѣмецъ, поднимается до степени Seelenfrage, вопросъ «народнаго брюха» до степени вопроса «народнаго духа». «Не раздавить мужика трудомъ, продолжаетъ нашъ критикъ, хочетъ онъ (на что̀ намекалось одною каррикатурою на Успенскаго), а напротивъ предоставить ему весь просторъ жизни». Этотъ просторъ понимается тутъ въ томъ *нравственномъ* смыслѣ, въ какомъ говорится у критика и про столь плѣнительную для Успенскаго «дѣвушку въ пледѣ»: «лишенія и оскорбленія—все это ничего, все это хорошо и весело, потому что сюда вложена вся душа, цѣликомъ». Но, такъ хорошо истолковывая все это,

г. Михайловскій однако же мѣстами находитъ въ такой *поэзіи лишеній*, *поэзіи страданія* и своего рода излишество—тамъ, напримѣръ, гдѣ онъ говоритъ про перерождившагося старика барина (въ очеркѣ «Хочешь—не хочешь»), который, въ самомъ дѣлѣ, какъ бы налагаетъ на себя какую-то епитимью. Но если старикъ говоритъ: «вотъ ребятишки иной разъ листа бумаги ждутъ по полугоду, а я буду въ лорнетъ смотрѣть»,—то это вѣдь вполнѣ соотвѣтствуетъ словамъ Макара Алексѣевича у Достоевскаго: «у другого и куска хлѣба нѣтъ, а я буду табакъ курить!» между тѣмъ Дѣвушкинъ и не думаетъ ни о какой епитимьѣ, потому что и каяться-то ни въ какомъ прошедшемъ широкомъ житьѣ ему не приходится. Если Дѣвушкинъ и страдаетъ, то вовсе не отъ тѣхъ лишеній, которымъ подвергаетъ себя самого ради отечески любимаго имъ существа, а именно отъ того, что не только этому существу, но и столькимъ другимъ плохо живется на свѣтѣ. И вотъ это-то сознанье чужихъ лишеній и должно поддерживать въ человѣкѣ аскетическую струну. Не одна Венера Милосская не страдаетъ—потому, что она «каменная», какъ говоритъ тотъ же г. Михайловскій, не страдаютъ и многіе живые люди, потому что *душа у нихъ каменная*. Но г. Михайловскій указываетъ и на то, что не страдающая Венера Милосская есть провозвѣстница и символъ будущаго. Да, если угодно, той поры, когда вообще убудетъ людскихъ страданій; но ихъ вѣдь опять прибудетъ, если отдѣльныя личности станутъ опять слишкомъ много забирать себѣ, т. е. если въ нихъ перестанетъ звучать аскети-

ческая струна. Въ этомъ смыслѣ аскетизмъ всегда будетъ нуженъ.

Между тѣмъ г. Михайловскій, вѣрно оцѣнивая аскетизмъ Успенскаго, справедливо его возвышая тѣмъ, что это аскетизмъ *дѣятельный* (празднаго, по Буддійскому образцу, конечно, не нужно), старается въ то же время какъ бы *извинить* его, придумать къ нему *поправку*. Выводя аскетизмъ Успенскаго изъ той «болѣзни совѣсти», о которой такъ много говорится у нашего автора, критикъ желалъ бы ей противопоставить «болѣзнь чести», которая «столь же способна, по его мнѣнію, нарушать гармонію «свиного элемента», только съ другого конца». Онъ старается затѣмъ разграничить сферы совѣсти и чести такимъ образомъ: «совѣсть требуетъ сокращенія бюджета личной жизни». Т. е. какой? позволяемъ мы себѣ сейчасъ же и перебить г. Михайловскаго. Если личной жизни въ смыслѣ удобствъ, удовольствій, комфорта, то это вѣрно; если же въ болѣе высокомъ, въ духовномъ смыслѣ, то совѣсть не только ничего не отнимаетъ у личности, но еще и надѣляетъ ее многимъ—хотя бы умѣніемъ выносить «лишенія, оскорбленія и мученія», если бы это понадобилось для пользы ближняго (сами же по себѣ, въ смыслѣ какой нибудь епитимьи, они даже вовсе не вытекаютъ изъ требованій *совѣсти*, которая и не признаетъ, чтобы всѣмъ этимъ можно было *загладить* прежнія отъ нея уклоненія). «Честь, продолжаетъ г. Михайловскій, напротивъ требуетъ расширенія личной жизни и потому не мирится съ оскорбленіями и бичеваніями.» Да, отвѣтили бы мы, потому что она не допускаетъ подобо-

страстія, трусости, подлости, но если бы тѣ же оскорбленія и бичеванія приняты были во имя любви къ ближнему, ради обороны его, ради обороны правды, то тѣ же оскорбленія и бичеванія нимало не задѣвали бы чести, а напротивъ дѣлали бы человѣку честь. «Человѣкъ уязвленной совѣсти, поясняетъ далѣе г. Михайловскій, говоритъ: «Я виноватъ, я хуже всѣхъ, я недостоинъ»; человѣкъ возмущенной чести говоритъ: «передо мной виноваты, я не хуже другихъ, я достоинъ». Работѣ совѣсти соотвѣтствуютъ обязанности, работѣ чести—права.» Намъ же кажется, что человѣкъ подъ вліяніемъ совѣсти долженъ совмѣщать и то, и другое. Онъ долженъ говорить: я виноватъ передъ самимъ собою, потому что унижалъ и свое, и чужое человѣческое достоинство и позволялъ его унижать и въ себѣ, и въ другихъ; я недостоинъ званія человѣка, потому что нарушалъ человѣческія права въ другихъ; я хуже ихъ, такъ какъ забывалъ, что человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, достоинъ уваженія къ его личности, къ его свободѣ,—просто, наконецъ, къ тому, что онъ *человѣкъ*. Мы, такимъ образомъ, обходимся безъ слова *честь*, замѣняя его другимъ словомъ. Слово *честь*, на нашъ взглядъ, далеко не вѣчное и не общее слово. Оно слишкомъ пахнетъ феодализмомъ, рыцарствомъ и новѣйшими слѣдами рыцарства, т. е. пахнетъ кровью, къ тому же подчасъ и дурацки проливаемою кровью. Оно только попытка перевести на нашъ языкъ *honneur* со всѣми барскими и свѣтскими принадлежностями этого термина, или же тотъ шляхетный *гоноръ*, ради котораго возница Успенскаго считалъ ниже своего достоинства сдѣлаться

крестьяниномъ. По основному своему смыслу въ нашемъ языкѣ слово *честь* ничего такого не означаетъ, оно означаетъ только то, чѣмъ воздается кому нибудь должное, подобающее его положенію, его заслугамъ. Это слово съ достаточно узкимъ смысломъ, и такому писателю, какъ Успенскій, до него мало дѣла. Совсѣмъ другое—*человѣческое достоинство*, о которомъ постоянно онъ и печется. Отъ Успенскаго нечего требовать той дополнительной работы, на которую указываетъ ему г. Михайловскій, какъ на поправку къ его будто бы односторонней, исключительной заботѣ только о *совѣсти*. Постоянно взывать къ совѣсти и значитъ постоянно думать о возстановленіи человѣческаго достоинства. Кличъ Успенскаго къ совѣсти—это вѣдь кличъ о томъ, что свободная человѣческая душа приносится въ жертву машинѣ, что съ нею обращаются, какъ съ машиною, что ее, наконецъ, обращаютъ въ машину. Повидимому, г. Михайловскаго непріятно поражаетъ, что, взывая къ совѣсти, мы только винимъ и винимъ, становимся какими-то надоѣдливыми прокурорами. По его мнѣнію, съ укорами или наставленіями надобно обращаться не столько къ людямъ, сколько «къ строю жизни, который пристегиваетъ людей къ ненавистному, ненужному, чужому имъ дѣлу, и не даетъ пропитанія ихъ душѣ, разбуженной «новою мыслью.» Но вѣдь строй жизни создается, поддерживается, терпится или же наконецъ измѣняется—людьми. Съ другой стороны, далеко не всѣ страдаютъ отъ жизненнаго разлада съ «новою мыслью», а потому и не приходится ихъ жалѣть, быть къ нимъ сострадательными. Многіе, а въ томъ числѣ и герои очерка

«Дохнуть некогда», даже и жалуясь на свою неугомонную жизнь, въ сущности смакуютъ ее, потому что ею же доставляется имъ комфортъ, пополняется ихъ карманъ, а вѣдь поклонливая ихъ спина не особенно подвержена утомленью. Что́ касается «новой мысли», то она у нихъ часто только на *языкѣ*, даже не въ *головѣ*, не говоря уже о проникновеніи ею *сердца*. Вѣдь и самобичеванію своему слѣдователь отдается только во снѣ, видѣнномъ о немъ авторомъ. На яву же всѣ они чувствуютъ себя, право, очень не дурно. Вотъ такихъ-то собственно и винитъ Успенскій; къ людямъ, у которыхъ дѣйствительно уже заболѣла совѣсть, онъ питаетъ участіе. Самъ г. Михайловскій замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ, что, разсказывая подчасъ возмутительныя, ужасающія вещи, «онъ почти никогда не возбуждаетъ въ читателѣ гнѣва или негодованія». Это опять не совсѣмъ вѣрно. Напримѣръ, къ «буржую» Успенскій и самъ чувствуетъ и въ читателѣ возбуждаетъ даже прямо ненависть. А вотъ г. Михайловскій слишкомъ уже не долюбливаетъ обвинительныхъ актовъ. «Всѣ они, говоритъ онъ про заболѣвшихъ совѣстью героевъ Успенскаго, передъ кѣмъ-то виноваты, а передъ ними будто бы и никто не виноватъ. Но передъ кѣмъ же виновата швея Томаса Гуда?» Да развѣ Успенскій обвиняетъ ее или вообще тѣхъ, передъ которыми, напротивъ того, *всѣ* виноваты?

Въ сущности онъ только постоянно занятъ мыслію, начавшею, по его замѣчанію, съ нѣкоторыхъ поръ занимать и общество,—мыслію о томъ, *какъ жить свято*. Забота о *святости* не можетъ не быть связана съ боязнью *грѣха*—(слово, положительно идущее къ языку

Успенскаго). Конечно, появляющіяся у насъ издавна многочисленныя душеспасительныя книжки на эту тему не могутъ удовлетворить его. Въ книжкахъ этихъ слишкомъ много, такъ сказать, *религіознаго эгоизма*, онѣ слишкомъ поглощены мыслью объ *отдѣльной душѣ*, душѣ, отрознившейся отъ общества, о спасеніи этой обособленной души. Жажда другого рода религіозности, той, которая, по прямому смыслу слова *религія*, крѣпко и дѣятельно связываетъ вѣрующую личность съ великимъ цѣлымъ, дѣйствительно сказалась у насъ въ обществѣ, сказалась въ молодежи.—Удовлетвореніе этой жажды необходимо для того, чтобы совладать даже съ экономическимъ зломъ, чтобы положить предѣлы всѣмъ каверзамъ «грѣховодника», чтобы сбросить съ его подножья питающагося человѣческою кровью и человѣческимъ мозгомъ Ваала.

Передъ нами рукопись, присланная въ одну редакцію и принадлежащая старообрядческому перу. Это придаетъ рукописи свой особый пошибъ, но не должно помѣшать оцѣнить въ ней то, что вторитъ общему, все болѣе и болѣе сказывающемуся у насъ, запросу на живую вѣру. «Не соціалисты, не коммунисты, не нигилисты и не анархисты, говорится въ рукописи, погубятъ въ будущемъ нашу Русь, а свобода капитала», который, къ несчастію, надвигается на нее, не смотря на всѣ, достаточно, повидимому, предостерегающія внушенія чужого опыта, опыта тѣхъ народовъ, у которыхъ и учимся мы, но не такъ, какъ бы слѣдовало.» «Дѣйствіе соціалистовъ и прочихъ *истовъ*, говорится далѣе въ рукописи, есть *слѣдствіе*, а не причина. При-

чина же, породившая ихъ, есть *свобода* капитала, и отчасти извращенное воспитаніе, построенное на образованіи отъ идеаловъ науки... человѣческой». На основаніи этой науки, по замѣчанію автора рукописи, у Англичанъ и «выработалась анти-Христіанская теорія «борьбы за существованіе», этотъ инстинктъ дикихъ, неразумныхъ животныхъ.» Такому инстинкту и порожденной имъ теоріи, по мнѣнію автора рукописи, должна бы противодѣйствовать живая, обновленная проповѣдь Христіанскаго идеала. Но такая проповѣдь невозможна при профессіональномъ, ремесленномъ отношеніи къ ней. «Сапожникъ и сословіе — это понятно. Русско-Римскій ученый мудрецъ и сословіе—это также понятно... Но *духъ* и сословіе, духъ и плотскія руки, — это *намъ* непонятно, это какой-то... спиритизмъ.» Проповѣдь требуетъ также и полной духовной свободы проповѣдующихъ. Для успѣха проповѣди нужна вполнѣ независимая отъ міра и его средствъ, его опеки и его поощреній, церковь Христова, это «царство не отъ міра сего», подъ вліяніемъ котораго слишкомъ многое должно бы быть перестроено въ «мірѣ семъ», чтобы можно было наконецъ жить «по Божески»!